



БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА  
**Советский воин**



**Л. ГОЛОВНЕВ  
В. СЕЛЕДКИН**

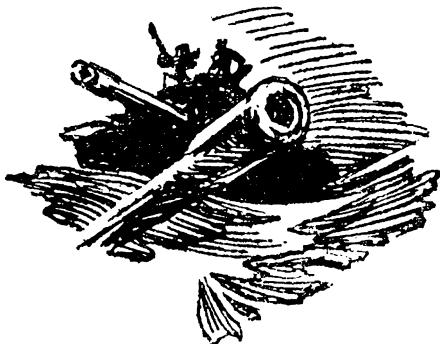
**ВЫВОД**



**Л. ГОЛОВНЕВ  
В. СЕЛЕДКИН**

# **ВЫВОД**

Повестъ



**УЧРЕДИТЕЛЬ —  
МИНИСТЕРСТВО  
ОБОРОНЫ**

Основана в 1942 году  
Выходит один раз в месяц  
© «Советский воин», 1992



**И**з бесстрастно отчетливой оттиснутости машинописных строк не проступало ничего такого, что имело бы хоть едва уловимый намек на загадочную сбыточность обещанной надежды, и командир полка, разочарованно постучав пальцами по серому бумажному квадратику, повернулся к своему заместителю по тылу майору Ролинскому, который сидел слева от окна и цепко держал на коленях коричневую, туго набитую папку.

— Это что же получается? Ни одной квартиры нам не дают?

— Ни одной.

Подполковник Климашин, даже и не пытаясь сдерживать досадливую обиду, что истончила его обычно хриловатый властно-нажимной голос, еще раз с испрашивающей требовательностью посмотрел на листок бумаги, одиноко лежащий перед ним на столе, как будто от нового ожидающегося взгляда в нем могло наконец появиться нечто до сих пор скрытое, утаившееся от первого, беглым охватом скользнувшего чтения.

— Может, ты с ними не так говорил?

— Обижаете, товарищ подполковник, — обиженно улыбнулся Ролинский. Он так бережно огладил ладонью папку с документами, словно приласкивал чье-то плечо. — Ролинский с людьми говорить умеет. Но тут случай особый — председатель исполкома мне популярно изложил, что город сам задыхается от нехватки квартир, а тут мы еще как снег на голову.

— Вот именно — как снег. Какая-то умная голова решила, что самое лучшее время для вывода — это зима. Этого бы умника, который с трибуны соловьем разливается о разоружении, да в нашу шкуру, чтобы его до печенок проняло.

— Политика, — сфилософствовал Ролинский.

Климашин неприязненно посмотрел на него, как будто именно Ролинский был творцом этого шумно рекламируемого «нового мышления».

Как из разрозненных, обрывочных намеков, полуслов, догадок, предположений, дочерпнутых до дна или едва тронутых поверху, точно из боязни обжечься о на-



копившуюся накаленность, все вдруг сошлось, скрепилось, разрослось и разом вымахнуло на свободу, но так и не вынесло с собой всего, что вбирала в себя душа, а как бы растягивало этот горячий, искрящийся след, начало которого никак не обозначивалось явно, узнаваемо, а все наслаивалось, все дальше уходило в глубину, в какие-то таинственные ее истоки, откуда нервным невнятным эхом долетали брошенные туда и слова, и намеки, и догадки, и предположения...

— Какая это политика?! — кричало все внутри у Климашина. По чьему-то одному торопливо-угодливому слову в мучительную круговерт брошены судьбы сотен тысяч людей, у каждого из которых существование состояло не столько из одних высших, торжественно ликующих помыслов, сколько из каждодневных, а порой и сиюминутных забот, из которых и складывается жизнь человека, вынужденного думать о куске хлеба и для себя, и для своих близких, кого обстоятельства, весь выбранный уклад соединили в одно целое, что не могло устроить себе иного пути, как только того, что был предопределен расчислением внешних сил.

И добро бы, от этого где-то случился прирост — стало больше друзей, укрепились надежды на достойный завтрашний день, посветлело у кого-то на душе, теплым тихим покоем умиротворилась чья-то душа. Так бывает, когда доброе дело словно возвращается к людям ответной благостной сторицей, рождая ощущение вещей неизбывности всего чистого и разумного в человеке.

А тут же — ничего такого, что оправдало, перекрыло бы все нужды и лишения, обрушившиеся не по закону какой-то общей неотвратимой беды, а точно в насмешку, в сытое глумление барина, восхотевшего еще раз показать власть над своими и так донельзя униженными подданными.

— Что всего обиднее, — заерзал на стуле Ролинский, — сколько сил мы вбухали в городок, только жить начали по-человечески, а тут — на тебе: собирайся второпях, беги на край света, где нас никто не ждет.

— Ну уж — край света! Всего в четырех часах езды от Москвы.

— А какая от этого радость? Где жить-то будем? Или нам в столице хоромы отведут? Очень сомневаюсь за такие дела. В Москве своих-то военных не больно жалуют.

— Да где нас нынче жалуют, Эдуард Васильевич? Вот ты побывал в Зареченске, говоришь, председатель исполкома с тобой через нижнюю губу беседовал. А я в этом Зареченске был в командировке на заводе десять лет назад, так со мной на улице все прохожие уважительно здоровались.

— Забытая мелодия, товарищ подполковник. Сейчас вместо приветствия могут запросто неприятность на физиономии сделать.

— Эту неприятность можно и здесь схлопотать... От наших бывших братьев по классу.

— Да они только для виду раньше улыбались! Небось камень за пазухой-то грели давно.

— А с какой стати им нас очень пламенно любить? Пришли чужие дяди с пушками и ружьями, расположились как у себя дома. Кому это понравится?

— Но мы-то при чем? Мы же не по своей воле здесь находимся.

— Это нам с тобой понятно да еще тем, кто такое решение принимал. А я вот недавно в одной газете прочитал, что на армию падет позор за то, что наши танки появились на земле Венгрии, Чехословакии и так далее. Чувствуешь, куда дело клонится? Оказывается, не вожди постановили, чтобы мы сюда вошли, а мы сами, командиры батальонов и полков, приняли такое решение. И теперь вся эта перестроечная шушера все свои чудесные дела хочет свалить на армию, а всякие шавки это дружно поддерживают.

Климашин порывисто встал из-за стола, и Ролинский даже отодвинулся подальше: таким гневом исказилось лицо командира полка. Зампотылу хорошо знал это выражение — оно не сулило ничего хорошего. Но Климашин подавил в себе эту вспышку, которая вдруг показалась ему неуместной здесь, в небольшом кабинете, в присутствии Ролинского, который все это знает и сам. Однако напор взбудораженных мыслей и чувств был так силен, так неостановимо требовал себе выхода, что он отошел к окну и продолжал тем же сильным нажимным голосом, который сейчас все так же пробивался сухой досадливой крипотцей.

— У меня душа переворачивается, когда вижу, какой грязью обливают армию! И не потому, что в армии все прекрасно, а потому, что оскорбляют самое дорогое. Я Родину клялся защищать, а меня теперь за это человеком не считают. В прошлом году ездил к брату в от-

пуск, в Москве сели с женой в автобус, так шофер на всю громкость заявил, что не тронет машину с места, пока офицер, то есть я, не выйдет. Представляешь, Ролинский, мое состояние?

— Да уж, врагу такого не пожелаешь! А Ирине Сергеевне-то каково?

— Вот ради нее-то и сдержался, не стал связываться с этим подонком. Вышли, а она в слезы: за что? За то, что лейтенантом на Дальнем Востоке по полигонам мотался, ни выходных, ни проходных не знал, сутками из танка не вылезал? Или, может, за то, что в Афганистане пулю в живот получил? А может, за то, что до сих пор угла своего не имею, что дети со мной по гарнизонам кочуют, а жена, дипломированный врач, так и не работала по специальности? Выходит, во всем этом я сам же и виноват? Выходит, не надо было слушать, когда мне говорили о долге, чести, высших интересах Родины?

— А как не слушать, когда такие большие люди говорили? Только где они теперь?

— Где? А там же, где и были. Речи, правда, у них теперь другие. Раньше они больше про военную опасность говорили, а нынче уже требуют вовсе распустить армию.

— Мне отец рассказывал, как при Хрущеве армию сокращали. Людей выгоняли без копейки в кармане, без крыши над головой.

— А почему такое было? Да потому, что Хрущев причудами своими довел страну до ручки. Вот и ухватился за идею, что дела можно поправить за счет армии. Ну, разогнали ее наполовину, и что? Ни масла, ни мяса не прибавилось, хлеб и тот пропал. Оказывается, надо уметь хозяйничать, головой думать. Нынешние-то правители это забыли, снова кричат, что армия во всем виновата. Ну что ты скажешь — никак у нас в России крикуны безголовые не переводятся!

— Мне тут недавно чехи анекдот рассказали. Один наш деятель спрашивает: зачем им нужно министерство морского флота? Ведь в Чехословакии нет моря. А чехи в ответ говорят: «Ведь мы же не удивляемся, что у вас есть министерство культуры».

Ролинский первым и рассмеялся над рассказанной им байкой, которая Климашину не показалась такой уж смешной. И не потому, что он был каким-то твердолобым патриотом, который всякое замечание в адрес род-

ного Отечества воспринимает как личное оскорбление. Но здесь было что-то неуловимо скользкое, какая-то высокомерная издевка, для приличия прикрытая добродушной улыбкой.

А может, это неприятие возникло лишь из-за того, что анекдот пересказал именно Ролинский. Он приехал в полк сразу после академии, до этого служил на Дальнем Востоке. Его, никогда не знавшего особого достатка, как и большинство офицеров, Чехословакия потрясла своими магазинами, обилием продуктов, чистотой, культурой — словом, всем, что и не снилось рядовому советскому обывателю.

Климашин тоже отдал должное сытой и благополучной жизни чехов. Но он видел, что достаток и им достается нелегко. Многие его знакомые, которые появились у него здесь среди местных жителей, жили очень экономно, старались не делать лишних расходов, выше всего ценили бережливость и добросовестный труд.

Ролинский же увидел только одну сторону здешней жизни — ее нарядный фасад, и теперь только и мог говорить, как у них все здорово и как все гадко и мерзко у нас. Казалось, вместе с действительно великолепным местным пивом, к которому сразу пристрастился зампотылу, в него все больше входило сознание почти идеальной картины окружающей его действительности, вознесшейся на недосыгаемую высоту по сравнению с существованием обитателей российских суглинков, о чем Ролинский с каким-то плохо скрываемым злорадством напоминал при каждом удобном случае. Вот и сейчас, рассказав анекдот, Ролинский с удовольствием засмеялся, не обратив внимания, что командир полка никак не отреагировал на шутку.

— Ну, если зампотылу смеется, значит, что-то хорошее ожидается, — слышалось от порога кабинета.

Климашин обернулся и увидел стоящего в дверях своего заместителя по политической части подполковника Сильченко. Глядя на его улыбающееся лицо, на всю его крепкую, ладную фигуру, Климашин вдруг почувствовал облегчение, как будто с появлением Сильченко он уже мог разделить с ним тот неумолимо давящий груз, который до этого ему приходилось держать одному, не показывая, как ему тяжело.

Вообще Климашин считал, что у командира никогда не должно быть растерянного вида. Как бы ни было трудно, он любой ценой обязан сохранять самооблада-

ние. Климашин знал, что за глаза его часто называют сухарем за постоянную невозмутимость, немногословие, жесткость решений. Но только он знал, каким напряжением воли ему это достается, какими железными тисками вынужден он порой сжимать себя, чтобы не вырвалось, не выплеснулось наружу не то что слово, даже намек на какую-то слабость или сомнение. И только в общении с замполитом Климашин словно отпускал немного невидимые обручи, ему даже как-то свободнее дышалось. Он и сам не мог объяснить, почему так происходит, но при одном взгляде на Сильченко, на его чистое открытое лицо с внимательными серыми глазами, на весь его облик уверенного в себе мужчины Климашин и сам точно заряжался новой энергией, желанием хоть немного побыть самим собой.

— Здравствуй, Николай Григорьевич! — Климашин вышел навстречу Сильченко. — Вот ты обрадовался, что зампотылу смеется. Да только смех этот, можно сказать, сквозь слезы. Никаких квартир нам в Зареченске не светит.

— Как же так? — потемнел глазами замполит. — У нас ведь семьи, дети...

— А наверху это никого не волнует. Так что придется жить в палатках.

— Подожди, Геннадий Сергеевич. Мы с тобой можем и в снегу ночевать, но ведь дети к этому не приучены!

— Придется привыкать.

— Да ты что, смеешься?! У нас ведь больше десятка семей с грудничками. Их тоже на мороз?

— Пусть едут к родителям, братьям, сватьям, ну, еще не знаю куда!

— А если у кого нет возможности? У лейтенанта Пулькова, например, никого нет, и у жены его — тоже. Оба — детдомовские. Им-то как быть?

— Снимать квартиру.

— В Зареченске даже за самую убогую хибару дерут не меньше двухсот рублей, — подал голос Ролинский.

— Как раз по лейтенантскому карману! — с горькой иронией произнес Сильченко. Он с тоской подумал о том, как эта новость будет воспринята в городке. И самые злые, самые гневные упреки посыплются на его голову. Такое решение люди будут объяснять только тем, что наверху сидят руководители, которым давно уже глубоко наплевать на простой народ. Но все их дей-





ствия освящены и прикрыты именем могущественной организации, а Сильченко — один из апостолов ее, пусть маленький, один из тысячи, но для полка — именно он представитель той силы, которая безжалостно перемалывает любые судьбы, вольна перекраивать по своему хотению, не всегда правому, но всегда непреклонному и даже упивающемуся этой своей непреклонностью.

— Все понятно! — Климашин рубанул ладонью воздух. — Вы оба шибко сердобольные, вам всех жалко, а я, выходит, чурбан бесчувственный. Хорошо, если вы такие жалостливые, скажите, что делать?

— Надо ехать к командующему, — вздохнул Сильченко.

— Я уже одному советчику объяснял, что командующий ничем помочь не может. С него тоже спрашивают за график вывода. А квартир и у него в кармане нет.

— Есть выход! — воскликнул Сильченко. — Меня ведь чего в политуправление вызывали? Чтобы сказать, что к нам едет комиссия Верховного Совета.

— Комиссия?! — переспросил Климашин, неприятно задетый тем, что об этом он узнал не из первых уст.

— Ну, не целиком, конечно, — поспешил успокоить его самолюбие Сильченко. — Три человека будут.

Ролинский обеспокоенно посмотрел на командира полка:

— А что они у нас будут проверять?

— Да это не проверяющие, Эдуард Васильевич, — теперь Сильченко принялся успокаивать Ролинского, хотя про себя подумал, что стоило бы подольше подержать в неведении зампотылу, а то ишь как разволновался! Чует небось грешки за собой. Да и кто из тыловиков их за собой не чувствует? Если все законы выполнять с точностью до запятой, то живо без штанов останешься. Кто-то придумал же порядок, при котором выжить можно только с помощью умелых махинаций. Так что Ролинский здесь не исключение, а правило. — Они приезжают, чтобы посмотреть, как идет вывод войск, — добавил Сильченко.

— А что хоть за люди? — смиряя себя, спросил Климашин.

— В точности не знаю, хотя одна дама знакома.

— Какая еще дама?

— Туранская Вероника Васильевна. Она была заместителем председателя исполкома в Верхнеобске, где я служил.

Сильченко произнес это нарочито равнодушным, безучастным голосом, как будто вспомнил далекую молодость из тех давно ушедших дней, когда жизнь сводила его с разными людьми и по делам, и просто по причине обыкновенных житейских обстоятельств, где была и встреча с женщиной, фамилия которой только что прозвучала в этом кабинете, и ничего нет необычного в том, что он ее знает, как знал и знает десятки людей, с кем нужно было что-то решать, выполнять их просьбы или самому обращаться к ним с какой-то неотложной — прямо за горло взяла — нуждой...

Но внутри у него что-то растерянно дрогнуло, как бывает, когда находишь старое, забытое письмо, выцветшую записку или даже что-то вообще самое будничное — обрывок билета в кино, полустертый карандаш, круглый, невзвест как сохранившийся камешек, — все, что несет на себе тихий отпечаток былого времени, которое, казалось, навсегда ушло в прошлое, растворилось, исчезло в нем, вытесненное новыми письмами, другими записками и прочей непрерывно текущей каждодневностью, которая неостановочно летит навстречу и шумным горячим потоком проходит сквозь душу, сердце, сквозь всего тебя, унося с собой и пустяки, и самое дорогое, и то, что хотелось бы забыть, и то, что надеялся уберечь, но не сумел, потому что достало течение и вымыло все тугой беспощадной струей невидимой реки, что зовется жизнью.

И вот оказалось, что не все смогла выискать и забрать с собой ни одна из волн, накатывавшихся на него все эти годы. Где-то в самом укромном уголке остался, не избыл себя крошечный осколок прошлого, и вдруг — толчком ли, отзвуком ли этого толчка, — но вынесло его на свободу, и тревожащим смятением откликнулись прикосновения этих мягких неуступчивых граней...

Они вышли тогда из здания горисполкома после целого дня заседаний. Сильченко, попавший туда как представитель воинской части, поначалу старался внимательно слушать выступления, но говорили об одном и том же — как плохо город подготовлен к зиме: не успели толком привести в порядок теплосеть, не завезли топливо, не...

Эти «не» звучали уныло и безнадежно, словно все, кто произносили: «не успели, не сделали, не закончили, не доставили, не добились» и подобные им бесконечные отрицания, уже давно привыкли к тому, что будет не

сделано, не закончено, не завезено, и теперь еще раз убеждали себя и других, что и в таком небрежении есть свои достоинства, ибо недостатки становятся таковыми лишь в том случае, если есть хоть какое-то подобие дела: ведь на пустом месте нет ничего — ни плохого, ни хорошего, и только с появлением оных обозначаются контуры чего-то такого, что может со временем обрести вполне реальные черты.

Эту логику самооправдания Сильченко видел и в армии, где еще легче строить воздушные замки из слов, обещаний и заверений, потому что именно они заменяют здесь конечный результат. Ведь нельзя же всерьез воспринимать так называемые итоговые проверки, после которых обещаний и заверений становится еще больше, потому что никто не озабочен первоосновой — готовностью к бою, ради чего, собственно, и существует армия, а весь громоздкий, многозвенный механизм взаимоотношений крутится вокруг химеры: выполнения каких-то обязательств, которые почему-то называются социалистическими, как будто нет просто обязанности выполнять долг, а должна быть непременно придана ему некая идеологическая основа, которая опять же состоит из тех же слов, только более непонятных и чужеродных.

Когда Сильченко ловил себя на этих крамольных мыслях, которые на самом деле были обыкновенными здравыми суждениями, то невесело ощущал в себе какую-то мучительную раздвоенность: с одной стороны — необходимость по долгу принадлежности к организации, которая требует полного подчинения, требует говорить людям только то, что одобрено этой же организацией, а с другой стороны — пониманием, что в реальной жизни все построено на нелепостях и несуразностях, которые той же организацией объявляются очередными успехами и достижениями.

Эту раздвоенность Сильченко объяснял сам себе тем, что, значит, еще недостаточно проникся какими-то высшими соображениями, таящимися в откровениях разного рода «мудрых учителей жизни», но чем больше он старался в них вникнуть, тем все яснее обнаруживал в них какое-то обыкновенное кликушество, параноидальное бормотание, наполненное злобой к людям, которые почему-то хотят жить своей жизнью и никак не хотят верить, что надо идти лишь тем путем, который им указывается.

В конце концов Сильченко решил для себя, что это —

бессмысленное занятие: искать истину в бесчисленных словесных извержениях, которые лились отовсюду, а надо заниматься главным — делать из ершистых, неуклюжих мальчишек хоть какое-то подобие солдат, потому что в полной мере ими просто невозможно стать в условиях, когда учеба больше построена на рассуждениях о ней, а не на реальном напряжении всех сил и возможностей.

Уже к концу второго часа совещания Сильченко слушал выступающих лишь вполуха. Потихоньку он достал из портфеля книгу, которую давно собирался прочитать, но никак не мог выкроить для этого времени. О романе известного писателя много говорили: одни критики его вздохом хвалили, другие — с такой же неистовостью ругали. Теперь Сильченко представился удобный случай наверстать упущенное.

Наклонившись над книгой, он вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Сильченко поднял глаза и увидел, что на него смотрит женщина, сидящая чуть сбоку напротив него. Сильченко никогда не был затворником и сейчас отметил про себя, что женщина уже распрощалась с первой молодостью, но держится молодцом. Поняв, что ее рассматривают откровенным мужским взглядом, женщина сделала вид, что ее очень интересует выступление очередного оратора и повернула голову в сторону сцены. Сильченко теперь видел ее только в профиль, и он ему понравился больше.

Есть женщины, лица которых только выигрывают от взгляда сбоку. Если у нее широко расставлены глаза, которые придают ей облик простушки, то в профиль все это выглядит совсем по-другому: контур лица рисуется одной четкой линией, которая оставляет главное — загадочную тень ресниц, доверчивый изгиб брови, прядь волос, косо упавшую на щеку.

Председательствующий что-то объявил, и женщина, на которую смотрел Сильченко, встала и пошла к трибуне.

— Кто это? — шепотом спросил Сильченко у соседа.

— Туранская, новый зампред, — также шепотом ответил тот.

Сильченко ожидал услышать напористый голос, каким обычно говорят женщины, добившиеся руководящего поста, словно должность, которую чаще исполняют мужчины, заставляет их тоже соответствовать своему природному антиподу. Но голос у Туранской оказался

самый обычный, из тех, какими говорит большинство женщин,—довольно высокий, сохранивший теплую мелодичность. Правда, отпечаток руководящей должности все-таки давал себя знать: слова Туранская произносила отчетливо, выделенно округляя каждую фразу, как бы сразу вкладывая в собеседника то понимание вопроса, какое она уже имела сама, не позволяя себе что-то на ходу додумывать, кружить мыслью вокруг да около, что всегда вызывает у слушающих раздражение или насмешку — вещи, губительные для руководителя.

Однако само выступление Туранской впечатления на Сильченко не произвело: опять те же «не», которые ничего не добавляют, а только свидетельствуют об умении дотошно подмечать каждый недостаток, даже как бы гордясь тем, что удалось обнаружить такое, что не смогли другие, значит, им не хватило прозорливости или не достало той особой придирчивости, которая вся построена как бы на сравнении двух конструкций: той, что должна быть, и той, что существует на самом деле. И вот здесь-то проявляются два типа оценок: один исходит из того, что вторая конструкция лишь тогда хороша, когда она имеет минимум отличий от образцовой. Значит, необходимо тщательно подсчитывать количество болтов, гаек, заклепок и прочих деталей, из которых состоят конструкции.

Второй же берет во внимание главное — работу. Если конструкция действует, то совсем неважно, насколько точно соответствует она в мелочах признанному идеалу.

За полтора десятка лет службы Сильченко убедился, что в армии безраздельно царствует подход, при котором дела оцениваются только степенью приближения реальной действительности к надуманным символам. Впрочем, Сильченко догадывался, что вся эта жизнь словно бесконечно примеряется к невидимому, но цепко прочерченному чертежу, и если обнаруживаются даже малейшие расхождения, то их тут же пытаются ликвидировать, безжалостно отсекая самовольно изогнувшиеся линии или, наоборот, огнем приваривая недостающие обозначения. В авторах таких чертежей никогда недостатка не было, и каждый из них из всех сил старался доказать, что именно его план наиболее универсален и всесилен, и если точно следовать ему, то непременно получится земной рай.

Подобные догадки Сильченко держал глубоко при

себе. Прознай про них какие-нибудь начальствующие церберы, гордящиеся своей партийной непорочностью, которая больше походила на обыкновенную импотенцию, и покатила бы его бедная головушка с плеч долой. Не только на службе, на жизни всей был бы поставлен крест, потому что глиняная партийная крепость как самой страшной беды боялась сомнений — потекут они вольными ручейками под основу, пробьют в ней ход, истончат опору, на которой все держится, и рухнут стены. Оттого при первом же появлении свежего родничка, еще неуверенного, слабого, но все настойчивее выталкивающего себя наверх, к свободе, его надо немедленно забить камнями, наглухо завалить и саму память о нем...

Совещание закончилось только к обеду, потом Сильченко заходил в отдел строительства просить о помощи — надо было ремонтировать клуб, который уже совсем развалился, а материалов, как всегда, не давали; потом искал знакомого директора завода, потом, когда нашел его, долго упрашивал в порядке шефства прислать в часть несколько машин асфальта, чтобы привести в порядок площадку перед детским садиком в городке. И за всем этим круговерчением, без которого никак не обойтись, потому что все время надо изворачиваться, чтобы где-то достать, выпросить все необходимое, которое вроде бы должно поступать централизованно, но уже давно ничего не поступает, поэтому приходится как-то исхитряться, добывая все самим; за всеми этими хлопотами Сильченко забыл, что любовался легкой, упругой походкой Туранской, когда она шла к трибуне для выступления. И не один он — сосед его, страхнув дремоту, загоровшимися глазами следил, как молодо покачиваются бедра идущей по проходу женщины. К таким взглядам Туранская, видимо, привыкла, потому что шла спокойно и уверенно, лишь чуть наклонив голову с собранными в пучок на затылке темными густыми волосами, словно прислушиваясь к собственным шагам.

Они почти одновременно подошли к дверям, и Сильченко посторонился, пропуская вперед Туранскую. Она благодарно кивнула ему и прошла так близко от Сильченко, что он ощутил теплый запах ее духов. Туранская бегло скользнула по нему взглядом и едва заметно улыбнулась, как будто ее позабавила ситуация — рослый красивый капитан открывает даме дверь, как в старинные времена, когда лихие кавалергарды, почтительно



уменьшив свой громадный рост, распахивали дверь кареты перед предметом своего обожания.

И от этой мимолетной понимающей полуулыбки Сильченко вдруг ощутил себя так, словно не было у него всех этих лет, до отказа набитых какими-то встречами, лицами, городами, духотой вокзалов, пылью и жарой полигонов, а он, как и в юности, вышел из дому, увидел мокрую от недавнего весеннего дождя крышу сарая и внезапно почувствовал, что все это: и влажная, мягко поблескивающая крыша, и прозрачно-голубая полоска неба над ней, и ажурно прочерченная вязь еще не опущенных листвою березовых веток,— все это как предчувствие счастья...

\* \* \*

Что-то тяжелое и жаркое стремительно накинuloсь на него сзади, и он упал лицом прямо на склон горы. Какие-то мелкие острые камни жгуче впились ему в щеки и в лоб, а груз на спине давил все сильнее и сильнее, и он уже начал задыхаться, пока не почувствовал, как сверху ему на шею потекло что-то горячее и липкое. Он с трудом повернул голову и увидел, как у самых глаз на земле набухает красное пятно. «Я ранен, убит?» — мелькнуло у него в голове, но никакой боли он не ощущал и понял, что кровь течет из человека, который сбил его с ног и придавил к осыпи.

— Костя! — собрав все силы, закричал Пульков и проснулся. Он рывком сел на кровати. Сердце билось глухо и часто. Пульков встал на холодный пол и, не нашарив в темноте тапочки, босиком прошел на кухню. Там он нацедил из крана стакан воды, залпом выпил его и присел за маленький, крытый голубым пластиком стол у окна.

За стеклом серел рассвет. Пульков закрыл глаза и снова увидел тот день, солнце над горами и розовый куст на сером каменистом склоне...

Село встретило их тишиной. Бронетранспортер медленно спустился по узкой ухабистой дороге, стиснутой крутым склоном горы, за которой виднелись далекие снежные шапки вершин хребта, и рядом домов, плотно прижатых друг к другу. Пульков с любопытством оглядывался вокруг — он впервые видел, чтобы дома стояли почти стена к стене. У себя на родине, в сибирской де-

ревне, он привык к простору, когда избы не грудятся в одну кучу, а стоят на земле вольно, открыто, весело. А тут лестница крыльца одного дома сходила чуть ли не на соседскую крышу.

В такой тесноте должно быть шумно от голосов, смеха, лая собак, стука шагов по каменистым дорожкам, плеска воды из умывальника, музыки, льющейся из открытых окон, рокота проезжающих машин.

И то, что сейчас ничего этого не было, воспринималось как что-то противоестественное, вдруг оборвавшее все связи с миром, таящее в себе какой-то зловещий смысл.

— Костя! — окликнул Пульков проводника, который сидел впереди на солдатском бушлате, сдвинутом к самому краю водительского люка. — А где же люди?

Костя повернул к нему смуглое худощавое лицо потомственного горца, на котором неожиданно весело смотрелся задорный нос, явно заимствованный у рязанских предков, и махнул рукой.

— Что ты, Дима, говоришь! Людей здесь давно уже нет. Как боевики начали стрелять, так люди и ушли кто куда. Остались только несколько старых женщин.

— Это которых мы должны вывезти?

— Да, они живут на том краю села.

И Костя показал рукой на пригорок, где лепились по склону три или четыре дома. Издалека было трудно разобрать, сколько их там на самом деле: казалось, стоит один большой, несуразно выстроенный дом, у которого на каждом этаже прилажена своя веранда. По пригорку серой тонкой лентой извивалась тропинка.

— Бэтээр не пройдет, — сказал Пульков.

— А мы там в переулке станем. Туда можно проехать. Давай прямо, потом налево.

— Беленко! — наклонившись над люком, крикнул Пульков водителю. — Давай пока прямо, потом повернешь налево.

— Товарищ лейтенант! — подсунулся к Пулькову радист. — Комбат спрашивает, где мы находимся.

— Передай, прибыли на место.

— Сто восьмой, я Девяносто шестой, — забубнил радист. — Прибыли на место. Сто восьмой, я Девяносто шестой...

Бронетранспортер, утробно рыкнув двигателем, начал взбираться по склону. Слева вдалеке показалась гора, на вершине которой виднелись какие-то развалины.

— Что это? — спросил Пульков.

— Церковь была когда-то. Теперь оттуда боевики стреляют. Скажи пулеметчику, пусть туда смотрит.

— Пулеметчик! — спохватился Пульков. — Возьми левее, вон на те развалины.

Ствол пулемета едва заметно вздрогнул и плавно описал полукруг, чутко замерев под прямым углом к борту, словно его, как магнитом, притягивали к себе полуобрушенные каменные стены.

...До батальона Пульков добирался вертолетом. В штабе полка ему дали выписку из приказа по части, где скупно сообщалось, что лейтенант Пульков Д. Д. назначен командиром мотострелкового взвода первой роты второго батальона.

В грузовой кабине вертолета было тесно — почти всю ее занимали ящики и мешки с продовольствием, прямо на которых сидели солдаты из группы сопровождения. Они дремали, бережно обхватив автоматы.

Пульков тоже поначалу прикрыл глаза, собираясь расслабиться, но уже через несколько минут понял, что не сможет заснуть. Всего каких-то две недели тому назад он был уверен, что в его жизни не предвидится никаких особенных событий. На много дней вперед был извещен один и тот же порядок — утренний развод на старом плацу, который по вечерам становился футбольным полем, уныло тянувшееся время в автопарке, где ему предписывалось внешним осмотром проверять состояние законсервированных машин, а проще говоря, смотреть, чтобы их не растащили на запчасти.

Служба в кадрированном полку шла неспешно, с размеренностью какой-нибудь конторы, где работа заканчивается в строго установленное время и каждая, даже минутная, задержка после заветного сигнала воспринимается как чуть ли не потрясение основ мироздания. После училища, где курсантам приходилось безостановочно крутиться с раннего утра до самого отбоя, такая жизнь показалась Пулькову незаслуженно легкой, словно дарованной ему по ошибке, которая вот-вот обнаружится, и тогда ему придется объяснять, что он никого не обманывал, стараясь добыть себе это теплое место, может, предназначенное кому-то другому.

Через полгода Пульков не выдержал и написал рапорт с просьбой перевести его в строевую часть. Начальник штаба полка подполковник Никаноров, обиженно поджав тонкие губы, долго смотрел на лейтенанта.

— Чем недоволен, Пульков? — ворчливым голосом спросил начштаба, привычно откинувшись на спинку стула.

— Всем доволен, товарищ подполковник, — машинально ответил Дмитрий, безотчетно повинаясь крепко усвоенному правилу на все вопросы отвечать начальству бодро, с молодецкой лихостью, но тут же покраснел от досады на такую свою ретивость: если всем доволен, то зачем рапорт написал?

— Если всем доволен, то зачем рапорт написал? — словно прочитав мысли лейтенанта, усмехнулся подполковник Никаноров.

— То есть... я не то хотел сказать, — заторопился Пульков исправить свою оплошность, — дело вовсе не в том, доволен я или нет, тут со службой все нормально, жалоб у меня никаких нет, а просто так все выходит, что дела настоящего нет, значит, какая от меня здесь польза? А в строевой части я буду нужнее... Вот...

— Это не тебе, Пульков, решать, где ты нужнее! — начштаба даже фыркнул от возмущения дерзостью подчиненного, осмелившегося рассуждать о своей самостоятельности. — Где скажуг тебе быть, там и будешь. Понял?

— Так точно! — пристыженно произнес Пульков.

— Вот и хорошо. А теперь иди и занимайся делом, а не сочиняй тут всякие фантазии, где кому надо служить.

Пульков вышел из штаба и медленно пошел к себе в батальон. На душе у него горячими толчками плескалась обида. Он-то думал, что его внимательно выслушают, даже, может быть, поблагодарят за намерение принести больше пользы, а его, что называется, протащили физиономией по радиатору. И поделом — в армии не любят шибко инициативных. От них у начальства голова болит, потому что надо думать, чтобы успеть за всеми идеями подчиненных.

Сгоряча Пульков даже решил написать рапорт на увольнение. Но через несколько дней его снова срочно вызвали в штаб. К удивлению лейтенанта, подполковник Никаноров самолично вышел из-за стола и, здороваясь, крепко пожал Пулькову руку.

— Садись. Как дела, как настроение? — голос начштаба дышал дружелюбием и отеческой заботой.

— Все нормально, товарищ подполковник, — Дмитрий терялся от такого приема и на всякий случай стал

вспоминать, не прознало ли начальство о каких-то его преступлениях. Но по всему выходило, что криминала на него не должно быть. Вряд ли Никаноров знает о том, что позавчера Пульков улизнул без разрешения в соседний поселок, где и провел ночь у поварахи столовой, рыжей Зойки, которая не обходила вниманием ни одного полкового холостяка.

Но если бы даже Никаноров и знал об этом, то чего бы стал разбираться? Скорее Пулькова потащили бы к замполиту на предмет беседы о необходимости молодому офицеру строго соблюдать нравственные нормы поведения.

Изнывая от неопределенности, Пульков счел нелишним еще раз заверить начальство, что у него все нормально.

— Это хорошо, — ласково улыбнулся подполковник Никаноров и с теплотой посмотрел на лейтенанта. — Ты рапорт писал?

— Так точно! — все еще недоумевая, ответил Дмитрий.

— Вот и хорошо. Тут нам, понимаешь, телефонограмма пришла, одного офицера нужно отправить. У тебя ведь родных никого нет?

— Нет.

— Вот и хорошо, — обрадованно вырвалось у Никанорова, но тут же до него все-таки дошло, что этому радоваться не полагается, и он смущенно покачал головой. — Конечно, это плохо, что нет родных, но тут, понимаешь, особый случай. В ЗакВО надо ехать. Понимаешь?

— Понял, — пожал плечами Пульков. Что же здесь непонятного? Посылать семейного офицера в те края — брать грех на душу. Мало ли что может случиться! А у Пулькова ни семьи, ни родных.

— Тем более ты сам рапорт писал, — нетерпеливо напомнил лейтенанту начальник штаба.

— Я от своих слов не отказываюсь, — усмехнулся Пульков. Он вдруг почувствовал себя легко и свободно оттого, что кончилась неопределенность, все как-то решилось и надо начинать новую жизнь.

...Вертолет прошел над перевалом и круто заскользил вниз. В окошко Пульков увидел большой дом, рядом с которым ярко зеленело футбольное поле. Вертолет осторожно опустился на него, и солдаты стали выгружать мешки.

— А где батальон? — спросил Пульков у солдата, который озабоченно пересчитывал мешки.

— Вон в доме отдыха, — не отрывая глаз от груза, махнул солдат рукой в сторону большого дома. Только теперь Дмитрий разглядел надпись над входом: «Дом отдыха «Радость»».

У дверей Пулькова встретил часовой с автоматом на изготовку. Он цепко оглядел лейтенанта и вызвал дежурного, нажав кнопку сигнализации, укрепленную на стене. Через минуту в дверях показался невысокий капитан. Пульков отдал ему свои документы. Капитан придирчиво просмотрел их и кивнул головой.

— Проходите. Второй этаж, первая дверь налево, комбат майор Мацкевич.

В небольшой комнате сидели двое — плечистый круглоголовый майор в «камуфляже» и одного роста с ним смуглолицый парень в сером, довольно поношенном, но чистом, опрятном костюме. На лацкане пиджака цветным мазком виднелся депутатский значок.

— Товарищ майор! — Дмитрий решительно шагнул вперед. — Лейтенант Пульков прибыл для дальнейшего прохождения службы!

— Добро. — Комбат взял документы, которые Пульков протянул ему и положил перед собой. — Мне уже сообщили о вашем назначении. Это весьма кстати. Тут у нас работенки по горло, а людей не хватает. Вот и сейчас сию и ломаю голову: пришел товарищ Алборов, — майор качнулся сильным телом в сторону смуглолицего парня, — просит помочь вывезти из дальнего села оставшихся там жителей.

— Несколько старых женщин, — уточняюще заметил парень и посмотрел на Пулькова темными печальными глазами. — Там снова появились боевики. Боюсь, могут сегодня опять напасть на село.

— Вот такая обстановка, — нахмурился майор. — А людей нет, все офицеры на операции.

Он еще раз посмотрел на документы Пулькова, потом перевел изучающий взгляд на него самого и длинно вздохнул.

— Ничего не попишешь. Придется тебе, лейтенант, как говорится, с корабля да прямо на бал. Получишь у дежурного инструкции, оружие и — вперед! Проводником с тобой пойдет вот он, — командир батальона положил руку на плечо парня. — Костя Алборов бывалый вояка, Афган прошел, так что с ним не пропадешь,



Они шли по переулку, и Пульков еще раз удивился непохожести этого села на привычный порядок, где дома стоят в одну линию, одинаково ровно вынося к дороге полисадники, частокोल оград, арочно выделенные створки калиток. Здесь же дома нестройно избегали по склонам, останавливаясь там, где можно было хоть как-то удержаться на круто падающей земле.

Чем ближе подходили они к окраине, тем чаще бросались в глаза разбитые окна, порушенные веранды, покрытые копотью стены.

— Боевики поработали, — угрюмо произнес Костя.

Сразу же за поворотом дома вдруг словно расступились, боязливо окружив пустырь, где земля была сплошь покрыта обломками кирпичей, листьями почерневшего от огня железа, кусками полуобгоревших досок. Прямо в центре грудой лежали остовы железных кроватей.

Костя остановился и глухо застонал.

— Что с тобой? — встревожился Пульков.

— Здесь был мой дом, — смуглое лицо Кости посерело, под кожей остро выступили скулы, а глаза смотрели с такой болью, что Дмитрию даже стало как-то не по себе от внезапной перемены, происшедшей с его проводником.

— Здесь убили мою мать. Ты понимаешь?! — Костя яростно сжав кулаки, опустил их прямо на камни, оставшиеся, видимо, от ограды. — Она не хотела уходить, тогда эти звери застрелили ее, а дом подожгли. Ты понимаешь?! Я ночей не сплю, мать вспоминаю. Она не хотела ко мне в город переезжать, говорила, что здесь ей лучше. А теперь я не могу себе простить, что не заставил ее уехать. Ты понимаешь?!

Дмитрию хотелось сказать, что он понимает, но он не мог сказать, что бы он чувствовал, когда бы узнал, что его мать расстреляли очередью из автомата прямо на пороге собственного дома, потому что он не помнил своей матери, а все, что он помнил, — это детский дом, где его кормили, одевали, но никогда не называли его сыном, а он никогда никого не называл словом «мама», и получилось, что его просто выращивали, как выращивают собаку или теленка, заботясь только о том, чтобы они не болели, вовремя ели и спали. Может, если бы все было по-другому, и он бы тоже жил в таком же доме с матерью, и она бы утром будила его в школу, а потом усаживала завтракать и сама бы наливала чай в большую синюю чашку, заботливо проверяя, не слиш-

ком ли он горячий, а вечером говорила ему, что очень устала за день, и просила его принести воды из колодца, может, если бы все это было, тогда бы он знал, как чувствует себя тот, кто не уговорил свою мать уехать из села, на которое могут напасть бандиты, а когда они напали, был далеко и не вышел навстречу подонкам, привычно вскинув автомат, чтобы очередь прошла как раз посередине тела, вспарывая пулями живот, а теперь остался один у пепелища, которое было когда-то его домом, самым прекрасным местом на Земле.

Ничего этого у Пулькова никогда не было, поэтому он молча присел рядом с Костей на камни и закурил. Дымок сигареты поднимался вверх тонкой подрагивающей струйкой, как будто под грудой кирпичных обломков еще что-то продолжало тлеть.

— Ладно, пошли, — сухо кашлянув, сказал Костя. Вслед за ним поднялся и Пульков, втапывая окурочек в белую кирпичную крошку. Они пошли вверх по тропинке, свернули налево, и вдруг высоко на склоне, над развалинами дома, Дмитрий увидел какое-то розовое неподвижное облако. Оно светилось нежно и доверчиво, как светится рано утром полоска зари над летней степью, где ночной слоистый туман нехотя стелется по высокой необсохшей траве, обещая жаркий долгий день, который обязательно должен принести что-то радостное, ведь не может быть, чтобы такая чистая ликующая заря предвещала беду.

— Красиво как! — вздохнул Пульков, не в силах оторвать взгляд от незнакомого видения.

— Персик цветет, — пожал плечами Костя. — Что, никогда не видел?

— Первый раз в жизни вижу. У нас, в Сибири, когда яблони цветут, так в садах все белым-бело. А персики у нас не растут.

— Ты приезжай, когда все поспеет. Такие фрукты попробуешь, совсем уезжать не захочешь.

— Да, у вас тут хорошо — сады кругом. Земля, видно, хорошая?

— Земля у нас хорошая, — с горечью повторил Костя, и Пулькову стало стыдно, что он радуется виду цветущих персиковых деревьев, когда рядом с ним сгоревшие дома, кровь на древних камнях, которые помнят, как возле них когда-то звенели молодые счастливые голоса, старики степенно обсуждали местные ново-

сти, а ребята носилась с футбольным мячом, который сипло бухал от каждого удара по нему.

Сзади них вдруг кто-то заплакал с таким безысходным отчаянием, что они разом вскочили на ноги и бросились на крик. Пульков перехватил поудобнее автомат, приготовившись стрелять. Они обогнули стену дома и увидели маленький полуобвалившийся сарайчик, откуда доносился безутешный женский плач. Костя рывком откинул кое-как сбитую из досок дверь, и Пульков увидел в углу сарайчика старуху в темном длинном платье. Она закрыла лицо руками и упала на колени, продолжая сотрясаться от рыданий.

— Надежда Мисостовна! — крикнул Костя, остановившись на пороге. Женщина сначала испуганно отпрянула, но потом, всмотревшись в них, торопливо шагнула навстречу.

— Костя! Алборов! — по ее морщинистому лицу текли слезы. — А я думала, боевики вернулись и меня сейчас убьют.

— Теперь все будет нормально, — сдавленным голосом произнес Костя. У Пулькова тоже горло сжалось тугим внезапным перехватом.

Женщина оторвалась от Кости и, просеменив по земляному полу сарайчика, обняла Пулькова сухими тонкими руками.

— Родные мои! Спасибо, что спасли нас! Спасибо, сынки!

Пульков ощутил на своих плечах вздрагивающую невесомость старческих рук, увидел близко от себя морщинистое лицо, на которое из-под черного платка выбивались тонкие седые волосы, и вдруг почувствовал себя сыном, который наконец-то нашел мать. Это чувство было таким острым, что у него зашипало глаза. Он осторожно переступил с ноги на ногу, боясь потревожить эту неизвестную ему старую горянку, которая замерла у него на груди, как будто и она тоже наконец-то встретила своего сына, которого долго не видела, но всегда верила, что он вернется в дом, где родился и где его всегда ждут.

— Костя приехал! Здравствуй, Костя! — раздались у входа женские голоса. Через несколько минут тут же, во дворе, собрались оставшиеся жители села. Как и говорил комбату Костя, это были несколько старух, одетые в одинаковые темные платья. Одна из них, высокая, громкоголосая, принялась командовать соседками:

— Несите вино, сыр, хлеб!

Пульков не успел ничего сказать, как кто-то вынес из дома две табуретки, на которых женщины быстро расставили оплетенную бутылку с вином, тарелку с сыром и круглые белые хлебцы.

— Неудобно вроде, — заколебался Пульков.

— Ты что?! — горячо вскрикнул Костя. — У нас такой закон: пришел в дом, выпей с хозяином вина. Если так не делаешь, большая обида будет.

Пульков взял протянутый ему стакан с темно-красным вином. Оно было холодным и отдавало незнакомым терпким ароматом. Дмитрий впервые пробовал домашнее вино, и оно показалось ему необыкновенно приятным. И сыр, и хлеб тоже были домашними. И оттого были тоже необыкновенно приятными. Легкий хмель разлился по телу Пулькова, и ему стало жарко.

Они быстро загрузили в БТР нехитрое имущество женщин, которые взяли с собой только самое необходимое, а потом помогли им забраться в десантный отсек боевой машины. Пульков уже ступил ногой на скобу, приготовившись подняться наверх, но потом вдруг передумал и соскочил на землю.

Он обернулся и снова увидел, как среди развалин легко и доверчиво парит над землей розовое неопалимое свечение.

— Я сейчас! — крикнул Пульков и перебросил за спину автомат. — Я быстро!

Он перепрыгнул через кювет и побежал вверх по склону.

— Дима, вернись! — услышал он встревоженный голос Кости, но в ответ только махнул рукой и ускорил подъем. Разве можно уехать, не ощутив на ладони мимолетную невесомость тяжести этих прохладных, зоревым цветом отсвечивающих лепестков? Ему пришло в голову, что прикосновение к ним принесет счастье в жизни. Если деревья выстояли в огне, значит, есть в них такая сила, которая сильнее самого обжигающего пламени. И не только того, что рушит дома, но и того, что испепеляет души ненавистью и злобой.

Надо лишь тронуть рукой усыпанную розовыми искрами ветку, наклониться над ней, осторожно вдыхая едва уловимый нежный, теплый запах, какой бывает у нагретых солнцем ягод земляники, когда подносишь их к губам, и светлой очистительной радостью наполнится сердце, и откроется впереди что-то необыкновенно важ-

ное, что-то такое, что изменит весь мир, в котором больше не будет стрельбы, пожарищ, плачущих женщин, детских игрушек, растоптанных тяжелым сапогом, садов, в которых не раздаются человеческие голоса...

Он услышал за спиной торопливый топот и обернулся. Его догонял Костя с сердито-нахмуренным лицом. Пульков хотел его спросить, что случилось, но Костя молча обхватил его сзади и бросил на землю. Пульков ударился головой о каменистый выступ и вскрикнул от боли. Ему показалось, где-то раздался тупой короткий треск.

Костя вдруг дернулся, глухо вздохнул и затих. Пульков почувствовал, как ему на шею полилась тонкая горячая струйка...

\* \* \*

Саркисян с силой потер виски, как будто этим мог прогнать боль, разламывающую голову. По-хорошему, надо бы отлежаться, чтобы одолеть эту проклятую простуду, которая так некстати навалилась на него. Но как оставить батальон, когда столько дел!

Еще два года назад он радовался, как все хорошо у него складывается — удачно проскочил все должности, нигде не засиделся, даже на роте был лишь два обязательных года, когда другие, бывает, не вылезают и пять, и семь лет, потому что командир роты — самая лошадиная должность, на которую столько всего взвалено, что сдюжить все может не каждый. А он смог, потому что не щадил никого, а прежде всего не щадил себя, домой приходил лишь к полночи, дождавшись, когда в роте пройдет отбой, и его гаврики наконец-то уgomонятся, и есть надежда, что до утра не выкинут какого-нибудь фокуса. И приходил на службу к подъему, и сам следил, чтобы все поднялись без раздражающей его ленивой раскачки, вместе с солдатами делал утреннюю физзарядку. И не просто для формы махал руками, а давал такую нагрузку, что солдаты еле поспевали за ним, а потом вместе с ними мылся холодной водой, и молодые ребята, многие еще по-мальчишечьи шуплые и угловатые, с завистью смотрели на его сильный торс, бугры мускулов на руках и готовы были терпеть и дальше эти изматывающие тренировки, чтобы иметь такое же атлетическое сложение.

Через год его рота стала лучшей в полку. Все думали, это случайно, но когда и на второй год рота капитана Саркисяна вышла в лидеры, его заметили, и вскоре он был назначен заместителем командира батальона, а это уже открывало дорогу в академию, и он снова не щадил себя, чтобы поступить в нее. Учился он с таким упорством и ненасытностью, как будто боялся, что не успеет вложить в себя всю эту премудрость. И здесь его тоже заметили, и он после окончания академии получил назначение сразу на должность заместителя командира полка.

В Баку стояла осень, но было жарко, все ходили одетыми по-летнему, и он с удовольствием вбирал в себя сухое солнечное тепло, от которого уже отвык. Его жена, коренная ленинградка, на которой он женился, когда учился в академии, недоверчиво спрашивала:

— Здесь всегда такая жара?

— Разве это жара? — смеялся он. — Вот в июле здесь будет жарко по-настоящему.

— Ужас! — всплескивала руками жена, молодая женщина с короткими светлыми волосами, в которые он так любил зарываться лицом, вдыхая их легкий душистый запах, от которого у него начинало гулко и часто биться сердце.

Но она так и не дождалась этого летнего зноя, когда от раскаленного воздуха кружится голова и темнеет в глазах. Они многого не дождались: она — обещанной жары, моря, знаменитых алшеронских груш размером в крупный мужской кулак и ароматом, напоминающим запах только что распустившихся роз, а он — уже светившей ему в скором времени должности командира полка, новых забот, которых он с молодой самонадеянностью нисколько не боялся, а даже желал как можно быстрее, как ждет работы человек, у которого накопилось столько сил и энергии, что он не знает, куда их девать...

Он прибежал за ней ночью, когда в Баку уже всю пылали пожары погромов, и армянских женщин выбрасывали из окон, а потом с полуживых сдирали одежду и обнаженными бросали в костер, и в воздухе носился резкий удушливый запах горелого человеческого мяса.

— Скорее! — крикнул он с порога. — Через час уходит самолет.

Она заметалась по квартире, хотя ждала, что эта ми-



нута придет. Ее не успокаивало, что она русская. То, что она вышла замуж за армянина, ставило ее в один ряд с теми, кто принадлежал к другой нации, с которой можно было делать все, что угодно, именно потому, что это была другая нация и это освобождало от всякой жалости к каждому, кто к ней принадлежал или просто с ней породнился.

В стальном чреве бронетранспортера собралось больше десятка женщин из их городка. Большинство из них Саркисян знал в лицо, но теперь он не узнавал их: на всех лицах лежал отпечаток ужаса, который витал над городком. Прежде мягкие черты обострились, глаза запали и лихорадочно блестели.

— Что с нами будет, Сергей Арутюнович? — спросила его соседка, жена командира батальона майора Степанина, высокая полная женщина, которая с трудом уместилась на сиденье десантного отсека. Да и остальные женщины сидели, тесно прижавшись друг к другу. На коленях у каждой лежал узелок, в котором было собрано лишь самое необходимое; все остальное было брошено, оставлено в квартирах. У одной девочки, кажется, дочери замполита седьмой роты, Саркисян заметил на коленях котенка. Он испуганно жался к детским рукам, а девочка, наклонившись над ним, что-то тихо шептала ему, — видно, успокаивала своего любимца, которого ни за что не соглашалась бросить.

— Все будет нормально, — сглотнув комок в горле, сказал женщинам Саркисян. — Сейчас мы едем на аэродром, там сядете в самолет и улетите в Москву.

— Кому мы там нужны? — заплакала одна из женщин.

— Там помогут, — стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже, произнес Саркисян, хотя и он в душе был не уверен, что кто-то проявит заботу о людях, которые лишились крова: и без них кругом хватало бед и страданий. Страну, словно сорванный с якорей в шторм корабль, мотало из стороны в сторону, и каждый из пассажира яростно боролся за место в спасительной шлюпке, куда первыми забрались капитан со всеми своими рулевыми, а на мостике теперь хозяйничали какие-то странные личности, с восторгом озирающие, как рушатся перегородки и вода стремительно затопляет судно.

На аэродроме Саркисян отыскал диспетчера и передал ему список женщин, которых привез. По пути бронетранспортер обстреляли, но они успели проскочить,

только две или три пули ударили по броне. Возле самой кромки летного поля он нашел группу, которую ему указали. Прямо на земле сидели женщины, старики, дети. У всех были какие-то одинаковые, растерянные, лица. Старая женщина в вытертом пальто приподнялась на носилках, на которых лежала, и с надеждой повернулась к Саркисяну.

— Скоро будет самолет? — слабым надтреснутым голосом спросила она.

— Скоро, — ответил Саркисян.

— Вот дожила... — горько покачала головой женщина. — Восьмой десяток пошел, ноги уже не ходят. Спасибо соседи помогли.

— А где же ваши родные?

— Убили их. Дочку и зятя убили. Зятя сразу застрелили, а над дочкой сначала измывались, глаза ей выкололи, потом живот разрезали. Она так кричала, как она кричала!

Женщина стиснула голову руками и сама пронзительно закричала. Глаза у нее закатились, и вся она забилась в судорожных рыданиях.

— Помогите ей, — сказал Саркисян жене. — Ты же доктор.

Та подошла к женщине, наклонилась к ней и достала из сумочки пузырек с нашатырным спиртом.

Саркисян кто-то тронул за плечо. Он обернулся и увидел прапорщика с автоматом и в каске.

— Товарищ майор, самолет пришел, надо отправлять людей.

— Хорошо, — сказал Саркисян и крикнул жене: — Надо идти, Аня!

Она вскинула голову и долгим взглядом посмотрела на него. Саркисян почувствовал, что еще немного — и он не выдержит: сам сейчас бросится к бронетранспортеру и поведет его в город, расстреливая всех, кто попадется ему на пути. Он с трудом разжал вдруг онемевшие челюсти и хрипло выдохнул:

— Мы скоро встретимся, Аня.

Они встретились через три месяца. После той ночи Саркисян подал рапорт с просьбой перевести его в другую часть. Он не мог больше оставаться в ненавистном ему городе. Вакансии заместителя командира полка не оказалось, и он согласился пойти командиром батальона в один из полков Центральной группы войск.

Аню он нашел в Москве у дальних родственников.

Когда она припала к нему мокрым от слез лицом, он понял, что голыми руками разорвет каждого, кто когда-нибудь еще раз принесет горе этой хрупкой светлослойной женщине, дорожке которой у него нет ничего на свете...

\* \* \*

Он стоял у входа в бокс, где ровными рядами выстроились танки, которые нужно было подготовить к погрузке на платформы, и ждал, когда придет эта комиссия, о которой ему вчера говорил командир полка. Он не верил, что от приезда нескольких депутатов будет какой-то толк, потому что ничем реальным они помочь не могли. «Хотя бы проволоки помогли достать», — усмехнулся Саркисян, понимая, что ни проволоки, ни даже гвоздя визитеры ему не дадут, а без этого они не представляли никакой ценности, потому что слов и обещаний он наслушался достаточно и уже ничему не верил, но по привычке военного человека вслух без нужды свое мнение не высказывать молча стоял и ждал, когда появится почтенная депутация.

Они как-то разом появились из-за угла хранилища и направились в его сторону. Впереди, размахивая объемистой папкой для бумаг, начальственно шел крупный осанистый мужчина, с бледным одутловатым лицом, на котором даже издали были видны темные набрякшие мешки под глазами. Рядом с ним шла стройная женщина, в сером строгом костюме, за ней, с любопытством оглядываясь вокруг, шагал еще один мужчина, на смуглом лице которого гордо топорщились черные густые усы. Замыкали процессию Климашин и Сильченко, но перед самым боксом командир полка вышел вперед. Саркисян шагнул ему навстречу.

— Товарищ подполковник, личный состав первого танкового батальона занимается обслуживанием техники. Командир батальона майор Саркисян.

— Здравствуйте, Сергей Арутюнович, — Климашин энергично пожал руку комбату и повернулся к гостям. — Представляю вам командира лучшего батальона майора Саркисяна.

Первым протянул руку солидный мужчина с папкой. Голос у него тоже оказался солидным и тоже каким-то округлым, как и его лицо.

— Очень рад. Сапожников Василий Михайлович.

— Туранская Вероника Васильевна, — спокойно представилась женщина.

Смуглолицый усатый мужчина с улыбкой тряхнул руку Саркисяна и с заметным акцентом произнес:

— Кучиев Мурад. Очень рад познакомиться.

— Сергей Арутюнович! — Климашин подошел к нему поближе, как бы приготовившись поддержать комбата, если у того вдруг возникнут какие-то проблемы. — Товарищи из Верховного Совета интересуются, как у вас идет подготовка к выводу полка.

— Как идет? Нормально идет, — пожал плечами Саркисян. Он и в самом деле считал, что нормально: с нехваткой материалов, с необходимостью спешить, хотя никаких причин для этой спешки он не видел. Вот если бы все шло гладко, без единой задоринки, он бы удивился, потому что за всю службу не знал такого, чтобы какое-то дело в армии делалось обдуманно, четко, без нервозности. Наоборот, считалось, чем больше шума, крика и гама, тем яснее это говорит о том, что люди из всех сил стараются выполнить порученную им задачу.

Но такая краткость не понравилась Сапожникову, который недовольно посмотрел на Саркисяна, как будто тот обманул его ожидания.

— А если поподробнее, товарищ Саркисян? Мне, например, как представителю межрегиональной группы, важно услышать мнение солдат и командиров о тех непростых, можно без преувеличения сказать, судьбоносных процессах, которые происходят в нашем обществе и которые конечно же не могли не затронуть нашу армию, которая сама является неотделимой, можно сказать, неразрывной частью нашего общества, в силу чего не может не испытывать на себе весь спектр, всю гамму бурного порыва всех здоровых сил общества к новым горизонтам нашей жизни, в которой до сих пор еще немало трагического, можно сказать, трагедийного, но есть немало и жизнеутверждающего, способного рождать конструктивные идеи и смело браться за, опять же повторю, непростую реализацию в условиях, которые...

— Василий Михайлович, мы вас знаем как прекрасного оратора, но сейчас вы, право слово, не на трибуне, — сухо сказала Туранская.

— Дорогая Вероника Васильевна! Вы, без сомнения, представляете самую прекрасную часть нашей делегатской делегации, но в данном случае смею вас по-

корнейше заверить, что я в отличие от моих коллег не делаю разницы между выступлением на самой высокой трибуне и общением с простыми людьми, посланцем и выразителем воли которых я ощущаю себя ежеминутно, в любых обстоятельствах, которые...

— Пожалуйста, не надо ссориться. Зачем говорить друг другу такие слова? Все хорошо, все нормально. Вот и товарищ Саркисян говорит, что все нормально. Я вас правильно понял, товарищ Саркисян? — жизнерадостно улыбнулся всем Кучиев.

— Так точно. Запчастей только не хватает.

Сапожников вскинулся, точно услышал что-то из ряда вон выходящее:

— Запчастей? Я всегда считал, что армия у нас в достатке обеспечена всем необходимым, даже имеет кое-что и сверх того. У нас тысяча танков, больше, чем у американцев. Зачем нам такой непомерно разросшийся бронированный кулак?

— Простите, Василий Михайлович, но раньше вы почему-то не задавали подобных вопросов, — не удержался Сильченко.

— Что значит — раньше? И какой вопрос вы имеете в виду?

— Ваши недавние книги об угрозе американского империализма миру, где вы очень убедительно доказывали, что нам просто необходимо всемерно увеличивать наш оборонный потенциал.

— Да, но это было другое время и другие обстоятельства, которые и диктовали именно такое понимание ситуации в мире.

— А что же изменилось сейчас?

— Как это — что? Надеюсь, про «новое мышление» вы слышали?

— Не сомневайтесь, слышал. Одного только не могу понять, как можно вчера говорить одно, а сегодня — совершенно другое. Добро бы, если бы все оставалось только на словах. Но ведь за этими словами вчера стояли одни дела, а сегодня — другие. Но расплачиваться за это заставляют одну только армию. Не кажется ли вам это странным?

— Ничего странного в этом не вижу. Просто надо гибче реагировать на те процессы, которые происходят вокруг нас, не делать из своего мировосприятия некий железобетонный абсолют, не подвластный никаким ветрам очистительных перемен,

— Товарищи! — примирительно поднял руки Кучиев. — Оставим в покое философию. Давайте займемся делом.

И Сапожников, и Сильченко с одобрением взглянули на него. Сапожников был рад, что не нужно и дальше выкручиваться, а Сильченко понял, что он понапрасну ввязался в этот спор. Кого он вздумал стыдить? Да у этого Сапожникова давно, видно, вместо совести пустое место образовалось.

На минуту в боксе повисла неловкая тишина. Первым, как опытный политик, переменял тему разговора Сапожников. Он напустил на лицо выражение усталой озабоченности и повернулся к Климашину.

— Да, хозяйство у вас немалое. Когда же вы планируете все это вывезти?

— Через неделю полк должен быть в Зареченске.

— Через неделю? — удивился Кучиев.

— Да, таков приказ.

— А как же это? — Кучиев растерянно обвел руками бокс.

— Оставляем. Впрочем, местные власти сказали, что это им не потребуется. Будут сносить.

— Ай как жалко! Какой хороший материал! Ай как жалко!

— Думаете, мне не жалко? Сердце кровью обливается, когда подумаешь, сколько мы здесь всего бросаем. Двадцать лет завозили, налаживали, обустривали, а теперь — все коту под хвост.

— Ну, зачем же так мрачно? Политический капитал, приобретенный в результате нашей обновленной миротворческой деятельности, тесно увязанной со всем комплексом проблем демократизации нашего общества, неизмеримо важнее тех сугубо вещных ценностей, которыми мы должны пожертвовать во имя дальнейшего развития процессов вхождения в общий дом.

— Кстати, о домах, — хмуро произнес Климашин. — В Зареченске нам не дают ни одной квартиры. Где же прикажете жить нашим семьям?

— Ну, квартирный вопрос сейчас везде стоит очень остро. Мы сейчас у себя в межрегиональной группе прорабатываем вопросы приватизации жилья. Мы, представляющие истинных демократов, твердо стоим на том, что каждое жилье должно иметь своего хозяина. Только хозяин, обостренно воспринимающий права собст-

венности, как никто другой, способен на заботу и внимание к своему имуществу.

— Подожди, товарищ Сапожников, — перебил его Кучиев. — Какая приватизация, когда тебе говорят, что людям жить негде будет!

— Это другой вопрос, и он не входит в компетенцию нашей депутации.

— К кому же нам тогда обращаться? — негодуяше спросил Климашин.

— Для этих вопросов у вас есть Министерство обороны, — важно ответил Сапожников.

— Простите, но я так полагаю, что решение о выводе войск принимало не Министерство обороны.

— Видите ли, пока мы еще в стадии становления, когда старые структуры командно-административной системы еще окончательно не разрушены, не сметены волной демократических преобразований.

— Какие умные слова на такой простой вопрос: «Где людям жить?» — пробормотал Кучиев.

— Значит, опять — «до основанья все разрушим»? Может, хватит?

— Господи, как все надоело! — не выдержала Туранская. — Слова, одни слова, как будто все сто лет молчали, а теперь научились говорить и торопятся продемонстрировать свою способность произносить буквы.

— Милейшая Вероника Васильевна, — снисходительно посмотрел на нее Сапожников. — Эти слова, как вы изволили выразиться, не что иное, как проявление нового, демократического духа, который в конечном итоге выльется в практические дела.

— Это хорошо, когда практические дела, — сузила глаза Туранская. — Тогда, может быть, вы скажете, что делать с жильем в Зареченске? Насколько я знаю, там с этим делом очень туго: строят в городе мало и долго. Как же в этом случае решить проблему, о которой нам здесь говорят товарищи?

Сапожников нравоучительно помахал пальцем перед лицом Туранской:

— Не надо поддаваться эмоциям. Вопрос действительно серьезный, но он не в нашей компетенции.

— Так что же делать?

— Вот вернемся в Москву, снова поставим вопрос на комиссии, поговорим, обсудим детально все аспекты этой, повторяю еще раз, проблемы, выработаем методику решения, а тогда уже можно будет и реально

определиться в ситуации, наметить конкретные меры.

— Все ясно, что ничего не ясно, — мрачно заметил Сильченко. Он и не надеялся особо на то, что приезд депутатов поможет им сдвинуть дело с мертвой точки: есть пределы возможностей даже у самых авторитетных представительств, а с жильем действительно везде такая проблема, что никакими усилиями ее враз не осилить. Но чем больше он слушал Сапожникова, тем все сильнее укреплялся в догадке, что присланная к ним комиссия и не ставила своей задачей разобраться, как полк будет устроен на новом месте. Он вспомнил вчерашний день, когда Климашин и он встречали депутатов на вокзале.

Поезд пришел на этот раз точно по расписанию. В последнее время все уже привыкли к тому, что он опаздывает, и всех интересовало лишь, на сколько часов он придет позже. Задержка с прибытием на два часа вообще уже не считалась опозданием, а серьезно воспринималось лишь ожидание в пять часов и более. Как говорили те, кто приезжал, всему причиной была родимая железная дорога, которая уже забыла, что такое ритмичная работа, а действовала лишь так, как диктовали обстоятельства, а они, в свою очередь, были таковыми, что никого не волновало, как точно ходят поезда.

Но на этот раз, видимо, у железнодорожников что-то просветлело, и они, поднатужившись, протолкнули состав через границу без обычной заминки.

— Наверное, этой комиссии испугались, — усмехнулся Климашин, когда у дежурного помощника военного коменданта они узнали, что им не придется томительно ждать прибытия поезда с гостями.

— Нашел чем их пугать! — засмеялся Сильченко. — Да их уже ничем не проймешь. Скоро как в гражданскую войну — комиссары от разных партий с маузерами будут свои порядки на железной дороге устанавливать.

Им сообщили, что депутаты едут в третьем вагоне, и они поспешили к нему, когда состав замер вдоль узкого длинного перрона. Но из третьего вагона вышли только отпускники, возвращающиеся на службу. Сильченко недоуменно оглянулся и увидел метрах в двадцати от них троих пассажиров, среди которых он узнал Туранскую. Она мало изменилась с тех пор, как они не виделись, — такая же стройная фигура, кото-



рой не придавала мешковатости даже свободно сшитая котиковая шуба.

Они с Климашиным заторопились к прибывшим гостям.

— А мы уже хотели розыски организовать, — недовольно произнес высокий дородный мужчина в модном пальто.

— Нам передали, что вы едете в третьем вагоне, — сказал Климашин, с трудом скрывая раздражение от несправедливого упрека.

— Вечно в армии что-нибудь напутают, — брюзгливо обронил все тот же барственного вида мужчина.

— Ничего страшного не случилось, — примирительно сказала Туранская и ожидающе посмотрела на Сильченко. В ее взгляде он уловил вопрос: какой он теперь? Помнит ли ее? «Конечно, помню», — ответил он ей глазами и увидел, как она радостно улыбнулась.

Сильченко подхватил ее чемодан и кивнул Климашину:

— Веронику Васильевну я забираю.

Климашин незаметно для других понимающе подмигнул Сильченко и повел остальных гостей к другой машине.

Сильченко сел рядом с Туранской и коротко скомандовал водителю:

— В городок.

Когда их машина тронулась и ходко пошла за командирским «уазиком», он повернулся к Туранской и осторожно тронул ее за теплый рукав шубы.

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй, Николай!

Она опустила ладонь на его руку, ласково сжала пальцы и близко заглянула в глаза. На него снова жарко повеяло запахом ее духов, и он закусил губу, чтобы не обхватить ее за плечи и не прижать к себе изо всех сил как было когда-то...

Он вновь встретился с ней через месяц после совещания, на котором ее впервые увидел. По делам ему надо было заехать в исполком, подписать у Туранской бумагу. Городской автобус, который ходил на окраину Верхнеобска, где стояла их часть, останавливался в километре от нее и поворачивал назад. Женщины городка уже одолели Сильченко просьбами посодействовать тому, чтобы автобусную остановку перенесли поближе.

И вот теперь он почти решил этот вопрос, оставалось только подписать разрешение у Туранской. Она сидела за столом и что-то быстро писала на листке отрывного календаря. Увидев его, она аккуратно положила карандаш и поднялась. Сильченко невольно отметил про себя, как элегантно выглядит она в сером костюме и темно-красном тонком свитере. Ему вдруг вспомнилась старая песня: «Когда в море горит бирюза, опасайся дурного поступка... У нее голубые глаза и дорожная серая юбка».

Были серая юбка и голубые глаза, но не было моря и не было бирюзы, и, значит, можно было не опасаться дурного поступка, хотя про дурной поступок в песне было сказано неправильно, потому что не может быть ничего дурного в том, чтобы встретить женщину с голубыми глазами и в юбке, которая лишь подчеркивает стройность ее фигуры...

— Я слушаю вас, — мягкий, с едва заметным кокетливым лукавством голос Туранской вывел Николая из состояния какой-то взвирренности мыслей.

Он отогнал от себя непрошенные песенные намеки и коротко объяснил ей свои проблемы. Она слушала внимательно, но не с тем дежурным участием, которым часто пользуются некоторые начальники, чтобы у посетителя сложилось впечатление, будто к нему относится как к родному человеку, хотя на самом деле начальник, изобразив на лице самое сладкое расположение, думает в это время совсем о другом, воспринимая все, что ему говорят в этот момент, как жужжание мухи, ненароком залетевшей в окно.

Туранская слушала по-другому, и Сильченко чувствовал, что ему хочется говорить и говорить, чтобы только видеть, как она смотрит на него: с неподдельным интересом, лучисто светлея глазами из-под длинных темных ресниц.

— Думаю, ваш вопрос решится без проволочек, товарищ Сильченко, — сказала она.

— Можно просто: Николай... Григорьевич, — набрался он смелости назвать ей свои имя и — тут немного запнулся, как бы только по официальной необходимости продолжая, — отчество.

— Очень приятно. Вероника Васильевна, — в ответ представилась и она, но при этом не сделала никакого намека, что ее можно называть только по имени.

— А я знаю, — выпалил он, но, увидев, как она ус-

меншиво подняла и опустила брови, понял, что допустил оплошность: тем, что он сказал, что уже знает, как ее зовут, он как бы принизил ее интерес к их знакомству, сразу обозначив в нем какую-то искомую выгоду.

Туранская посмотрела на часы, не скрывая, что спешит, и спросила его:

— Вы на машине?

— Да, — ответил он и чуть не добавил: «И в вашем распоряжении».

— Вы не подбросите меня в Сычевку? — она назвала поселок, расположенный километрах в трех от Верхнеобска. — Там мне нужно побывать у одного нашего ветерана.

— Конечно, я готов, — поднялся Сильченко.

Через полчаса они были в Сычевке и остановились возле старого, но еще крепкого дома с высокими деревянными воротами.

— Большое спасибо, — сказала Туранская. — А ваш вопрос мы обязательно решим, так что не беспокойтесь.

Сильченко помог ей выбраться из «уазика» и вдруг спросил:

— А можно я вас подожду?

Еще несколько минут назад у него и в мыслях не было этого предложения, но в то самое мгновение, когда он бережно подхватил Туранскую, когда она, неловко ступив на высокую подножку машины, покачнулась и на долю секунды прижалась к нему, — в это самое мгновение к нему вдруг пришло ощущение, что ему надо на что-то решиться, что-то немедленно сделать, иначе он никогда больше не увидит эту женщину с лучистыми глазами, и что-то светлое и радостное пройдет мимо него, и он никогда потом не сможет простить себе, что по какому-то удерживающему разумению не дал себе воли решиться на всего один шаг к тому, что отдалось у него вдруг в сердце томительным и тревожным ожиданием...

— Хорошо, — не глядя на него, тихо сказала Туранская. — Я недолго.

Она вернулась минут через сорок, но Сильченко это время показалось целой вечностью. Он уже чувствовал, что между ними что-то протянулось, какая-то незримая, волнующая нить, и уже нельзя было ее просто оборвать и сделать вид, что ничего не случилось, потому что произошло что-то такое, что не уходит бес-

следно, а оставляет или затаенную радость, когда она окрашивает весь мир в свои счастливые краски, или опустошающее разочарование, которое потом превратится в ту занозу, которая дает себя знать лишь тогда, когда ее неловко заденешь...

— Извините, я вас, наверное, задерживаю?

Туранская после быстрой ходьбы покраснелась, и это как-то стерло выражение того деловитого напряжения, которое было у нее на лице в кабинете. И выглядела она сейчас просто привлекательной молодой женщиной, с которой можно говорить и о пустяках, а не только о серьезных вещах, даже читать ей стихи, легко взять под руку и смеяться, заглядывая ей в глаза и с волнением вслушиваясь в ее ответный смех.

— Мне надо было встретиться со старым учителем. Он прислал письмо, просит не закрывать в поселке школу.

— А почему ее закрывают? — удивился Сильченко.

— Мало детей. Многие жители отсюда уехали, а те, что остались, уж состарились, а их дети разлетелись по свету.

Только теперь Сильченко вспомнил, что, когда они ехали по поселку, нигде не было видно детворы.

— И что же теперь будет? — спросил он.

— Боюсь, школу придется закрыть. Но попробую все-таки доказать, что без нее поселок окончательно зачахнет. Вот такие у нас дела, Николай... Григорьевич.

Она чуть улыбнулась, как бы давая понять, что помнит его недавнюю заминку при знакомстве.

— Неважные у вас дела, Вероника... Васильевна, — в тон ей сказал Сильченко, потом торопливо добавил: — Вы меня нисколько не задерживаете.

— Но ведь у вас служба, наверное, все строго...

— Так командир знает, что я поехал к вам решать вопрос.

— Ага, значит, вы хотите прикрыться мною?

— Ну, что вы! Я за чужие спины не привык прятаться.

— О, тут нужна очень широкая спина, чтобы вас спрятать.

Они вдруг оба почувствовали, что разговор как-то неумовимо сползает в область, где каждое слово будет звучать намеком на что-то большее, чем оно в себе содержит, словно уже не играет роли его смысл, а все

самое главное говорят интонация, взгляд, движение губ.

Первой поняла это Туранская и принужденно произнесла:

— Не будем нарушать порядок. Я не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности. Вы меня довезите, пожалуйста, до автобусной остановки, а дальше я доберусь сама. И еще раз большое спасибо, что помогли.

— А можно, я вам позвоню? — Сильченко произнес это с робостью, которая так не вязалась с его сильной фигурой, что Туранская рассмеялась.

— Хорошо, конечно, звоните. Я думаю, дня через два мы решим вопрос с переносом автобусной остановки поближе к вашей части.

Но Сильченко уловил, что его звонку будут рады не только по поводу дорожных дел. «А может, это только кажется?» — подумал он. И разрешение звонить не значит ничего иного, как служебную любезность по отношению к просьбе назойливого визитера, от которого надо побыстрее отделаться, чтобы он больше не трепал нервы своими претензиями.

Автобусную остановку действительно вскоре перенесли. Правда, не через два дня, как обещала Туранская, а через неделю, но и это можно было считать рекордным сроком.

Сильченко позвонил и назвал себя.

— А я вас сразу узнала, — быстро сказала Туранская. — Теперь у вас все нормально с автобусами?

— С автобусами у нас все нормально, — засмеялся Сильченко.

— А чему вы смеетесь?

— Это я не над вами, — испуганно проговорил Сильченко. — Это я мультфильм вспомнил про кота Матроскина. Он там говорил, со средствами у нас все нормально.

— А помните, как он учил бутерброд есть?—вдруг спросила Туранская.

— Нет, не помню.

— Ну, как же! Колбасой вниз, чтобы вкуснее было.

И опять они почувствовали, что слова в разговоре не играют никакой роли, — с таким же успехом можно было говорить об оросительных каналах или о способе заваривания турецкого чая: фразы ничего не значили сами по себе; настоящий разговор шел за ними,

там, где звучал голос, и от того, как он звучал, становилось понятно, о чем идет речь.

— Можете меня поздравить, — после небольшой паузы сказала Туранская. — В отпуск уйду, так отдохнуть хочется, вы даже не представляете.

— Вы куда-то в санаторий едете?

Сильченко даже показалось, что голос у него противно закрипел.

— Почему в санаторий? Поеду к родственникам. Они тут недалеко в деревне живут, Терехово называется. Буду в лес ходить, грибы собирать.

— А вы не боитесь?

— Одной в лес ходить?

— Ну да.

— Я в тайге родилась, Николай Григорьевич, и с ружьем могу обращаться не хуже, чем с авторучкой.

— Вот уж не подумал бы!

Сильченко действительно не думал, что Туранская родилась в таежной глуши. Ему почему-то казалось, что она жила всю жизнь в городе и никогда не ходила по тайге, не знает деревенского уклада, никогда не испытала на себе сельский труд.

— О, вы многого не знаете обо мне, Николай.., Григорьевич!

— А у меня к вам есть много вопросов.

— Да? Тогда придется подождать с ответами.

— И долго?

— А вы хстите очень быстро? Боюсь, не получится.

— Почему же?

— Недогадливость не красит мужчину, тем более офицера.

— Я исправлюсь.

— Да уж, постарайтесь.

— Обязательно. А вам я желаю хорошо провести отпуск и набрать как можно больше грибов.

— Спасибо. Я тоже буду стараться.

Сильченко услышал, как в трубке раздались короткие гудки. Он с досадой бросил ее на рычажок и чертыхнулся про себя: какой-то дурацкий разговор получился. Туранская подумает, что он какой-то заурядный армейский Ванька, который привык с женщинами разговаривать на языке легендарного поручика Ржевского, который при первом же знакомстве с представительницей прекрасного пола сразу предлагал ей близость. «Наверное, и она решила, что я из такой же ка-

тегории», — удрученно думал он, еще и еще раз перебирая в памяти недавний разговор.

Но втайне он все-таки думал о Туранской именно как о женщине, к которой его влекло. Он рано женился, еще в училище. Как-то они с ребятами из своего взвода попали на вечер отдыха в местное медучилище, которое, как шутили в городе, было питомником невест для курсантов училища.

На танцах Николаю приглянулась невысокая темноволосая девушка в легком, почти воздушном платье. Оно-то и сгубило Сильченко. Он пригласил девушку танцевать и, прижав ее к себе, почувствовал все ее тело — упругую талию, бедра, высокую грудь. Жаркая, безудержно ищущая выхода истома нахлынула на Николая.

Он осмелел, начал нести какую-то чепуху, лишь бы не молчать, а сам со сладким страданием чувствовал, как все набухает у него, рвется наружу, а девушка делает вид, что не замечает его покрасневших щек, жадного блеска глаз.

Они встречались еще несколько раз, и Николай все сильнее испытывал влечение к Тане. Он словно потерял голову, ходил как в тумане. Ему казалось, что такой и должна быть настоящая любовь. Через месяц они поженились...

Спустя год Таня родила девочку, потом он закончил училище и получил назначение в Верхнеобск. Через полгода к нему приехала Таня с маленькой Светой, но девочка стала часто болеть, и врачи сказали, что здешний климат ей вреден.

Пришлось Тане с дочкой снова ехать к родным. Так они теперь и жили — виделись лишь во время его отпуска, да пару раз, оставив Свету на руках родителей, Таня прилетала к нему.

Теперь он уже знал, что такое женщины, и искал их. Таня, наверное, догадывалась об этом, но молчала. Он подозревал, что и она во время их долгих отлучек не остается одна.

Вот и Туранская тоже привлекла его своей женской статью, однако после разговора с ней он понял, что здесь мимолежного, ни к чему не обязывающего развлечения не будет.

Но через неделю он спросил у начальника штаба батальона, заядлого таежника:

— Где эта деревня, Терехово называется?

Начштаба словоохотливо рассказал ему, как до нее добраться...

\* \* \*

Из дома Пульков вышел, когда городок только начал просыпаться, лишь кое-где в окнах квартир зажглись огни, а на дорожке к штабу еще не было видно офицеров, спешащих на службу. Пульков, отогнув рукав шинели, посмотрел на часы и заторопился. Ответственному по роте полагалось прибыть к подъему личного состава и проследить, чтобы он прошел как можно организованнее, то есть без особой неразберихи, при которой кто-то не торопится вставать, плотнее натянув на голову жиденькое одеяло, как бы демонстрируя тем самым богатырскую мощь своего сна, который не способен потревожить даже самые отчаянные призывы дежурного по роте; а кто-то, зевая и потягиваясь, пристально рассматривает сапог, словно надеясь увидеть на его кирзовом, пропахшем потом голенище нечто такое, что сразу подтвердит невозможность подняться и одеться ровно за сорок четыре секунды — именно столько времени горит спичка, что служит наиболее точным хронометром для всех проверяющих, кому доставляет удовольствие неотступно стоять над душой своих подчиненных, подгоняя их забористыми бессмысленными окриками.

Пулькову это удовольствия не доставляло. Больше того, он считал, что так называемые ответственные, то есть офицеры, которые должны неотлучно находиться в подразделении, имея право лишь на короткий сон дома, — это верный способ погубить армию. Так думали большинство офицеров, но так не думали наверху. Там, в тиши внушительных кабинетов, отгороженных от мира частоколом бюрократических условностей, твердо полагали, что дисциплина в войсках будет тем крепче, чем неотступнее будет контроль за каждым шагом солдата со стороны его командира. И, рожденные мрачным чиновничьим вдохновением, на головы офицеров камнеподобным дождем сыпались приказы и директивы, в которых предписывалось назначать ответственных в каждой роте, а сверх того и — в батальоне, а над ними — еще и в полку, дивизии, армии, а в праздничные и предпраздничные дни усиливать эту



когорту поголовных контролеров дополнительными нарядами, да не просто делать это путем увеличения численности проверяющих, а непременно назначать для этих дел лучших офицеров.

И бежали затемно к солдатским казармам лейтенанты, капитаны, майоры и подполковники, и обходили каждую койку, проверяя, не остался ли в ней после общего сигнала какой-нибудь упавший в сладкий молодой сон солдатик, и тормошили отставших, чуть ли не поддерживая им штаны, чтобы не нарушался распорядок опозданиями, а потом те же лейтенанты, капитаны, майоры и подполковники провожали своих подопечных в столовую, сами не успев толком поесть, следили, чтобы какой-нибудь прохиндей, полавший согласно солдатской иерархии в «деды», не изъяс у молодых своих братьев пайку сахара, а потом опять же все вместе шли на занятия, после которых ответственные снова не спускали глаз со своего разношерстного воинства, с хитрецей поглядывающего на бесчисленных опекунов, так же бдили, чтобы подчиненные ели, курили, читали газеты, бродили по казарме, разговаривали друг с другом, умывались, чистили сапоги и совершали другие свои немудрящие дела непременно под надзором.

И все это при том, что тут же существовала служба, которая специально предназначалась для того, чтобы жизнь в полку шла строго по распорядку, не отклоняясь от предначертанных уставом требований, — все эти дежурные, их помощники, дневальные: весь наряд, который выделялся, инструктировался и подгонялся именно для того, чтобы не дать покачнуться всей конструкции.

И самое удивительное, что при таком, казалось бы, всеохватывающем контроле, когда даже осторожное чихание не должно остаться незамеченным, порядка в армии становилось все меньше, всю ее словно сотрясало от внутреннего разлада, коржило от бесчисленных конвульсий. Но наверху делался вывод, что, значит, тиски закручены слабовато и следует еще крепче завернуть гайки, еще больше усилить контроль. И опять камнепадом летели на головы офицеров приказы и директивы, и увесистые дубинки служебных и партийных взысканий молотили по головам тех, кто не сумел продемонстрировать свою способность становиться неотвязчивой тенью своих подчиненных, а свер-

ку летели новые громы и молнии, от которых жизнь в армии становилась еще мучительней и беспросветней.

Все это напоминало странный спектакль, где персонажи только изображают действие, оставаясь на своих местах. Но в таком театре бессмыслица имела то свойство, что она когда-нибудь все-таки кончалась, а тут лицедейство длилось круглые сутки. Нормальные линии, протянутые так, как подсказывал здравый смысл и вековая практика армейского существования, попав в столь криводушное силовое поле, на глазах искажались, обрывочно переплетались, так что нельзя было понять, что к чему относится и кто кем представляется. Командир взвода представал сержантом, майор лейтенантом, опытный офицер — бездарным несмысленным. Такая искривленность наиболее умных оскорбляла, а равнодушных делала еще равнодушнее, подлецов же — еще изворотливее и наглее. Офицеры начинали видеть в своих подчиненных лишь поднадзорную толпу, из-за которой им приходится жертвовать и без того жалким отдыхом, семьей, детьми, просто возможностью почувствовать себя нормальным человеком, не отягощенным необходимостью кого-то бесконечно понукать. Солдаты же видели в своих командирах надоедливых погонял, которые неотступно стоят над душой и от которых нигде нет возможности избавиться, хоть на несколько минут отдохнуть от их ненавидящего давления, рожденного и непрерывно подкрепляемого все новым и новым принуждением.

Армия разваливалась по самому главному шву. А сверху в раскол вбивались новые клинья, и не было умения понять, преднамеренно ли это делается, или от вечного тупоумия власть держащих...

Впрочем, для дела тут не было никакой разницы, потому что и в том и в другом случае результат был один и тот же.

Над всем этим и размышлял в который раз Пульков, торопливо шагая по узкой дорожке, асфальт которой мокро блестел в огне фонарей. Середина зимы, а снега здесь так и не было. Зато чуть ли не ежедневно шли дожди. И оттого, что над городком висели низкие серые облака, что пришлось подниматься чуть свет и опять на сутки уходить из дома, а Галя опять остается одна с Мишкой, который опять простыл и, как все больные дети, будет капризничать и звать отца, — от всего этого в душе Пулькова поднималось глухое, то-

скливое раздражение, обращенное не на что-то или кого-то конкретно, а как бы медленно пропитывающее всего его самого, как медленно и неостановочно пропитывает вода ткань, стоит хоть кончику попасть во влагу.

А тут еще этот сон...

Струйка дождевой воды проскользнула за воротник шинели, и Пульков судорожно передернулся, как будто снова почувствовал, как тонкой неровной ниточкой обжигает ему кожу чужая горячая кровь...

У входа в казарму навстречу ему шагнул дежурный по роте сержант Никонов и ломким мальчишечьим голосом зачитал рапорт:

— Товарищ лейтенант, за время моего дежурства в роте происшествий не случилось!

Что-то в этой угодливой торопливости показалось Пулькову фальшивым, натужным, да и смотрел Никонов куда-то вбок, стараясь не встречаться взглядом с Пульковым, и того словно жальшим порывом холодного ветра просквозило предчувствием тревоги, даже не столько ее, словно ощущением приближения какой-то близкой обрушенности.

— Все нормально? — переспросил Пульков, втайне надеясь, что ему лишь показалось, что его ждет неприятное известие, но Никонов, видимо решившись и одновременно страдая от того, что он должен решиться, потому что все откроется и без него, но тогда его умолчание обернется против него, в то же время и откровенность не сулит ему ничего хорошего, в отчаянии от такой неразрешимости он сжал худенькие плечи, как будто уменьшенность в росте давала ему право поступать так, как от него требуется сейчас, когда он должен как дежурный по роте доложить первому прибывшему офицеру обо всем, что случилось, без всякой утайки.

— Виноват, товарищ лейтенант, — он сглотнул слюну и снова отвел взгляд куда-то в сторону. — Рубашвили и Серов... В общем, драка была...

Но по тому, как он это сказал — с затаенным суетливым принуждением, — Пульков понял, что драки не было, а было что-то другое, более отвратительное и гнусное. Рядовой Серов служил в его взводе механиком-водителем. Это был тихий исполнительный солдат с таким чистым, нежным лицом, как будто оно предназначалось какой-то девушке, а по ошибке попало

парню. Но зато руки у него были не по возрасту мужские — с широкими грубыми ладонями, сбитыми металлом пальцами и черной от ввевшегося масла кожей. Они странно не соответствовали друг другу — открытое, с застенчивым румянцем лицо и тяжелые, раздавленные работой руки. Казалось, они принадлежат разным людям, но все объяснялось просто — Серов до армии жил в маленькой деревушке на Смоленщине, рано пошел работать в колхоз.

Он был пятым ребенком в семье старых школьных учителей. Их дети, вырастая, разлетались по земле. В конце концов с ними остался лишь самый младший, Анатолий. Ему и пришлось взять на себя все заботы о родителях, которые к старости стали часто прихварывать. Но, несмотря на это, его все-таки призвали в армию. Формально у родителей были еще дети. Анатолий глубоко переживал случившееся, тосковал по дому, но старался не подавать виду, что на душе у него нет покоя. Он служил ровно, не выпячивая своей старательности, но всегда оказывалось, что все ему порученное он выполняет без всяких напоминаний, точно и аккуратно. Он и танк водил так же обстоятельно — не бросал машину напропалую по трассе, а как бы бережно держал ее в своих широких сильных ладонях, не давая понапрасну ей падать в рытвины или биться на камнях.

Пулькову нравился этот солдат, и он старался при каждом удобном случае сделать ему что-то приятное: то хвалил за добросовестность в работе, то иногда в разговоре называл его по имени, как бы подчеркивая, что не всегда они могут быть начальник и подчиненный, а придет время, и никто не запретит им быть на равных, и если будет какое-то неравенство, то оно будет не в разнице званий и связанных с этим условностей, а в разнице прожитых лет, а это все-таки совсем другое, чем невозможность общаться на равных только потому, что у одного на плечах погоны со звездочками, а у другого их нет.

Рубашвили пришел к ним в роту недавно из соседнего полка, который расформировали, а часть солдат прислали к ним дослуживать. Поначалу он даже произвел на Пулькова хорошее впечатление — при каждой встрече старательно отдавал честь, ходил всегда в опрятном обмундировании. Как-то Пульков сказал своему заместителю сержанту Поливайко, здоровенно-

му парню из донбасских шахтеров, что-то лестное о Рубашвили.

— Дерьмо, — коротко отрезал Поливайко, хмуро выслушав офицера.

— Почему? — неприятно задетый, что его оценка подверглась такой уничижительной критике, спросил Пульков.

— Без мыла куда угодно тишком пролезет, а потом тут же продаст, — Поливайко добавил еще пару крепких шахтерских выражений, без которых у него не обходилась ни одна фраза. Сколько Пульков ни бился с ним, пытаясь отучить от этой привычки, и стыдил, и наказывал, Поливайко лишь виновато краснел, вытирая ладонью пот с широкого багрового лица, и сконфуженно басил:

— Ну, е-мое, товарищ лейтенант, у нас в поселке все так выражаются.

— Так ты же сержант, заместитель командира взвода, — давил на самолюбие подчиненного Пульков. — Какой пример ты солдатам подаешь?

— А что пример? — ворчал Поливайко. — Разве я не требую порядка?

Порядок во взводе Поливайко действительно поддерживал железный. Его побаивались за силу, которую он, однако, никогда не использовал во вред, а уважали за готовность в любую минуту прийти на помощь. Поэтому характеристика, которую Поливайко дал Рубашвили, заставила Пулькова внимательнее присмотреться к новому солдату. Но он служил в другом взводе, так что Пульков видел Рубашвили только урывками, а вскоре сам забыл о намерении поближе познакомиться с ним — своих забот хватало с избытком.

И вот теперь — какая-то непонятная драка...

После подъема Пульков завел Серова в комнату для канцелярии роты, усадил напротив себя за стол. Он сразу заметил, что у солдата подавленный вид. Глаза Серова лихорадочно блестели, а пухлые мальчишечьи губы судорожно кривились, точно он изо всех сил пытался сдержать рвущиеся из горла рыдания.

— Что случилось, Анатолий? — спросил Пульков.

— Ничего, товарищ лейтенант, — сдавленным прерывистым голосом ответил Серов.

— Как это ничего? Да на тебе лица нет! Вот и дежурный доложил, что у вас с Рубашвили драка была.

— Не было никакой драки, товарищ лейтенант,— опустил голову Серов.

— А что же тогда было?

— Ничего не было, товарищ лейтенант.

— Что ты заладил: «Ничего не было, ничего не было», — досадливо поморщился Пульков, но, взглянув на Серова, понял, что, чем упорнее он будет добиваться от солдата откровенности, тем сильнее он замкнется в себе. Значит, случилось что-то такое, о чем рассказывать еще больнее, чем пережить.

Отпустив солдата, Пульков вызвал сержанта Поливайко.

— Что случилось?

Поливайко, сердито отдуваясь, мял в руках шапку.

— Я бы этого гада Рубашвили, товарищ лейтенант, голым под вагонетку засунул... е-мое... и угольком присыпал... е-мое... чтобы понюхал, чем пахнет... козел збруев...

— Объясни без своих шахтерских междометий!

— А чего объяснять-то? Хотели Серову разборку устроить.

— Кто хотел?

— Да Рубашвили...

— Один он?

— Да нет, еще дружок его.

— Кто это?

— Ну, этот... е-мое... Нуралиев... из второго взвода.

— И что же?

— А что? Пришлось по рогам дать обоим.

— И ты в этом деле участвовал?

— Да чего там участвовал, товарищ лейтенант! Я им... это... сказал, в общем, что они козлы збруевы, а потом, когда пошел, нечаянно задел Нуралиева, а он упал... е-мое...

— А Рубашвили?

— А что Рубашвили? Он сам поднялся.

Кое-как Пулькову все-таки удалось добиться связанного объяснения от Поливайко. Оказалось, у Серова есть знакомая чешская девушка. Они познакомились на одном из совместных вечеров с местной молодежью, которые поначалу еще проводились. Она подарила Анатолию свою фотографию, которой он очень дорожил. И вот сегодня, вытаскивая что-то из кармана куртки, Анатолий уронил ее на пол. Поблизости кру-

тился Рубашвили. Он цепко подхватил фотографию, поднес ее к глазам.

— Твоя? — пренебрежительно кивнул он Серову.

— Не твое дело, отдай, — зазвеневшим от обиды голосом произнес Анатолий.

— А ты попроси хорошенько, — осклабился Рубашвили, — может, тогда и отдам. Девка, наверное, того стоит? — хихикнул он.

— Ты! — только и смог крикнуть Анатолий и набросился на Рубашвили. Но тот был сильнее и без труда отбросил Серова.

— Ах, вон ты как? На «деда» руку поднимаешь? Да знаешь, что тебе за это полагается?

— Отдай фотку, — затравленно посмотрел на Рубашвили Анатолий.

— На, получиай!

С торжествующей ухмылкой на лице Рубашвили порвал фотографию на несколько частей и бросил обрывки на пол.

— Мы еще с тобой потолкуем, — процедил он сквозь зубы.

Глотая слезы, Анатолий собрал кусочки картона, начал складывать их на ладони. Ему показалось, что большие, затененные длинными ресницами глаза Кветы смотрят на него с немым укором: что же ты не уберег мой подарок?

...Вечер назывался громко и торжественно: «Дружба советской и чехословацкой молодежи — нерушима!» Но после официальной части, где выступили секретарь комсомольской организации полка старший лейтенант Распопов и представитель Общества чехословацко-советской дружбы, обратившиеся к собравшимся с теми общими дежурными словами, которые когда-то, может, и зажигали сердца, но сейчас воспринимались лишь с вежливой скукой, начались танцы, и ледок скованности, который поначалу давал себя знать между солдатами и их гостями, юношами и девушками из местной школы, начал понемногу таять.

Вот тогда-то Анатолий и заметил невысокую подвижную девушку с копной густых темнорусых волос. Она так самозабвенно отдавалась ритму быстрой музыки, что хотелось так же безудержно броситься в водоворот танца, ощущая, как резкая мелодия пронизывает все тело, заставляя его изгибаться, вскидывать руки, поводить плечами,





Когда музыка стала немного спокойнее, Анатолий набрался смелости и пригласил девушку на танец. Он увидел близко от себя ее тонкое, чуть удлинненное лицо, большие смеющиеся глаза, и сердце у него залила томительная волна нежности и страха. Он испугался, что закончится танец, они разойдутся и он больше никогда не увидит ее, даже не узнает, как ее зовут. И этот страх вытеснил смущение, которое Анатолий испытывал, когда ему приходилось обращаться к незнакомым девушкам. Какое-то прежде неведомое, тайное чувство подсказало ему, что его не оттолкнут высокомерной усмешкой, за которой не скрывается ничего, кроме холодной душевной пустоты.

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут? — улучив момент, когда музыка чуть притихла, готовясь вновь взвинтить темп, наклонился к девушке Анатолий.

— Меня зовут Квета. А вас?

И хотя она произнесла эту фразу с той старательной отчетливостью, с какой говорят ученики, повторяющие чужой язык на школьном уроке, Анатолию показалось, что такой теплой, доверчивой певучести он не слышал даже в голосах своих знакомых землячек.

— Меня зовут Анатолий, — невольно подражая ее манере говорить оборотами из разговорника, торопливо произнес он.

Она чуть наклонила голову, как бы вслушиваясь в интонацию, с которой он произносит слова.

— Хорошее имя — Анатолий.

— Обычное, — растеряннo пожал он плечами, пытаясь понять, насколько свободно владеет она русским языком и не придется ли им и дальше обсуждать только свои имена.

— Вы живете в Москве?

— Почему в Москве? — удивился он, но потом сообразил, что, наверное, этот вопрос Квета тоже выучила на уроке русского языка, где предполагалось, что большинство русских живут в Москве, Ленинграде и Киеве.

— Нет, я живу не в Москве, — он с ужасом обнаружил, что отвечает какими-то готовыми стандартными фразами, точно взятыми из каких-то учебников. И чтобы не говорить больше штампами, он принялся подробно рассказывать о своей деревне, доме, в котором вырос, речке, где так хорошо в летний зной вытянуться после купания на горячем песке, раскинуть

руки и окунуться взглядом в бездонную синеву неба, где у самого горизонта недвижно замерло белое облако, похожее на старинный корабль, который ищет попутный ветер, чтобы снова пуститься в дальний путь, где его ждут неведомые страны, крутые скалистые берега таинственных заливов, встречи в маленьких портовых городках...

— Вы любите море? — улыбнулась Квета.

— Не знаю, — признался он. — Я никогда не был на море.

— А я очень люблю. Я была на море один раз маленькой девочкой, когда ездила туда с мамой и папой. Но я очень хорошо помню, какое оно большое и красивое. У нас в Чехословакии тоже много красивых мест, но это — горы, лес, озеро, река. А там нет ничего, одна пустота, сколько ни смотри — ничего нет. Но когда стоишь на берегу, хочется уплыть далеко-далеко. Я очень хочу уехать куда-то далеко. А ты?

Она назвала его на «ты» так просто и спокойно, как будто они были знакомы давным-давно, и лишь по какой-то странной случайности не могли встретиться раньше.

\* \* \*

Они молча прошли через узенький коридорчик КПП, спустились по ступенькам на дорожку, выложенную серыми бетонными плитами, и тут Сильченко не выдержал:

— Ну, и жук этот Сапожников! Думает одно, говорит другое, а делает третье.

— Думаешь, в парламенте он один такой? — усмехнулась Туранская. — Увы! На языке у них одно: последнюю рубашку отдать для общего блага. А посмотришь внимательно — они же только о своей выгоде и думают! Кому хлебную должность присмотреть на будущее, кому деток своих пристроить получше, а кому и такое — машину новую быстрее заполучить да квартирку попрестижней под шумок отхватить. Демагоги!

— А что же вы-то молчите?

— Устала я, Коля, — Туранская наклонила голову, потерлась подбородком о меховой воротник шубы. — Уже сил нет изображать из себя государственного деятеля. Какие мы деятели? Так, одно название. Самое

главное варится где-то в тайне от нас, а нам остается только все это слегка помешивать да немножко добавлять соли и перца, как говорится, по вкусу. А я люблю конкретное дело, чтобы результат видеть, руками пощупать, глазами порадоваться. Вот как в Верхнеобске. Там все было ясно: за что отвечаешь, с кого спрашивать, перед кем отчитываться. Тяжело было, не скрою, но как-то об этом не думалось. Может, потому, что молоды были?

— Наверное, не только в молодости дело. Нынче иных молодых слушаешь, так они будто уже сто лет прожили: все им плохо, никто о них не заботится, ничего хорошего впереди не светит. Прямо какой-то вселенский плач! Мол, отцы и деды такие-сякие: не припасли чадам своим «мерседесов» и двухэтажных вилл. Так возьми и сам всего этого добейся! Нет, мы, наверное, единственная страна в мире, где дети чуть ли не до своей пенсии сидят на шее у родителей. Мне тут приходилось бывать в семьях знакомых чехов. Так у них родители не очень-то нянчатся со своими чадами. Вырос, выучился — будь добр, дальше дорогу пробивай сам. Ты обратила внимание, как здесь одеты старики? Намного лучше молодых! А у нас? Молодые шеголяют в самых дорогих нарядах, а старики чуть ли не в рванье каком-то ходят.

— Так ведь молодым, Коля, пожить хочется!

— И прекрасно! Но только за счет того, чего добился сам. Тогда хоть будет стимул двигаться вперед. А если только надеяться на то, что все сделает кто-то другой, тогда последнего лишимся и по миру пойдем с протянутой рукой.

— Наверное, и мы, старшие, виноваты, что так все получается.

— А я себя виноватым не считаю! — Сильченко сердито отбросил носком ботинка пожухлый лист, прилипший к ноздреватому бетону дорожки. — Мне никто на блюдецке ничего готового не преподносил. В военное училище два раза поступал, но своего добился. Первый раз по состоянию здоровья не прошел. Маленький был, худющий, ужас!

— Вот уж никогда бы не подумала! — засмеялась Туранская, лукаво блеснув глазами.

— Но именно так и было! Погоревал я тогда, а потом решил: не я буду, если своего не добыюсь. Пошел работать на железную дорогу. Все делал — и шпалы

таскал, и вагоны разгружал. Поначалу чуть ли не замертво после смены падал, но потом потихоньку втянулся, тогда вроде полегче стало. И когда на второй год снова пошел поступать в военное училище, медкомиссию проскочил без сучка и задоринки. Ну а уж в училище я за себя взялся по-настоящему. А тут еще, можно сказать, повезло с приятелем. На соседней койке оказался парень, фанатик атлетизма, тогда это только в моду начинало входить везде. Так мы познакомились, подружились и начали вместе качаться.

— Мужчинам всегда проще собой заняться, — вздохнула Туранская и зябко повела плечами.

— Замерзла? — обеспокоенно спросил Сильченко.

— Нет, что ты! Разве ты забыл, что я сибирячка?

Нет, он не забыл.

...В Терехово он добирался на попутном лесовозе. Шофер, молодой парень, в черной кожаной куртке, так бесшабашно гнал машину по ухабистой дороге, что ее бросало из стороны в сторону, как утлую лодку на штормовой океанской волне.

— Что, на флоте служил? — углядев краешек тельняшки в отвороте шоферской куртки, спросил Сильченко.

— Угадал, командир, — скосил на Николая плутоватые глаза шофер. — Северный флот — настоящий флот. Слышал про такой?

— А что другие — не настоящие?

— Э, да ты, оказывается, не в курсе! Тогда слушай. Про Северный я тебе сказал. Идем дальше. Балтийский флот — бывший флот, Черноморский — чи флот, чи нет, а вот Тихоокеанский — тоже флот. Усек?

При этих его словах машину так тряхнуло на очередной яме, что Сильченко даже взлетел на воздух и через мгновение шлепнулся на сиденье с такой силой, что пружины жалобно охнули.

— Ну и дорога! — дипломатично заметил он, хотя на языке вертелась другая фраза, относящаяся скорее к водителю, чем к качеству дорожного полотна. Но Николай предпочел умолчать об этом, чтобы не настроить против себя шофера, который согласился подбросить его в эту, видно, забытую Богом деревню, если к ней ведут такие дороги.

— А что? — засмеялся шофер. — Маленько трясет? Так это мы сейчас поправим. У нас ведь как — больше газу, меньше ям.

И он действительно прибавил скорости. Вопреки мудрой шоферской поговорке ям, однако, не убавилось. Наоборот — лесовоз затрясло, как на вибростенде, где проводят испытания на прочность.

— Машину угробишь, — чуть ли не взмолился Николай, но шофер только беззаботно потрянул головой.

— Не дрейфь, командир! Чего жалеть это железо? Эту спишем, новую получим. Всего и делов-то!

Сильченко понял, что такую философию ему не переспорить. Он все чаще видел, как люди с каким-то разухабистым остервенением крушат все, что попадаетеся им в руки, словно в них вселился бес неукротимой озлобленности. К кому? Они и сами не знали, поэтому набрасывались на то, что было поблизости, — будку телефона-автомата, с мясом вырывая трубку, автобусную остановку, вдребезги разбивая стекла, отчего укрытие приобретало вид копстройки, попавшей под жестокую бомбежку, двери подъездов собственного дома, сорвав с них ручки и изрезав ножами.

Может, это была какая-то тайная неосознанная месть за ущербность своей жизни, за то, что нет в ней никакого просвета, кроме водки и такого вот бессмысленного куража, больше похожего на отчаянное желание доказать кому-то, что не все еще задавлено, что есть силы для того, чтобы вырваться из мертвящего круга обыденности, где один день ничем не отличается от другого, такого же мутного и покорного, придавленного заботами и расчетами как бы выжить.

А может, это был сигнал того, что всеобщее одичание набирает силу все больше и больше, и недалек тот день, когда люди так же бессмысленно будут убивать друг друга, не испытывая при этом ничего, кроме вялого любопытства от вида крови и раздробленных костей, даже если это будут кровь и кости близких им людей, детей или стариков...

— О чем задумался, командир? Не спи, вон уже твое Терехово.

За поворотом дороги показались деревянные дома, двумя ровными рядами сбегающие к речке, через которую был переброшен неширокий настил моста. От мысли, что он скоро увидит Веронику, у Сильченко часто забилося сердце, и к голове прихлынул горячий звенящий туман. Он даже не сразу расслышал, о чем его спрашивает шофер.

— Укачало, что ли, командир? Где, говорю, тебя высадить?

— Вот здесь, — заторопился Сильченко, показав рукой на первый попавшийся ему на глаза дом.

— Добро, — шофер лихо притормозил, так, что в машине что-то загремело и завизжало, и кивнул головой Сильченко. — Бывай, командир.

Когда пыль от рванувшего вперед лесовоза улеглась, Николай заметил у калитки приглянувшейся ему избы старушку в темном платке, подвязанном под подбородком. Она с откровенным любопытством разглядывала Николая.

— Добрый день! — поклонился ей Сильченко.

Старушка, обрадованная тем, что с ней начали разговор, зачастила мелкой торопливой скороговоркой:

— И тебе, сынок, день добрый, нынче люди отвыкли друг с другом-то по-людски-то здороваться, все больше норовят что-то буркнуть будто через силу, значит, будто некогда им другого человека привечать, а ведь он, другой человек-то, может, от этого тоже в душе потемнеет, а потом и сам кому-то буркнет таким же манером, вот тебе и пошло-поехало, все друг на дружку гавкают, а свет им всем черен становится. А ведь ране, помню, идет по улице какой прохожий, увидит тебя и тут же ласковость в голосе проявит, да поклоном встренет тебя, да здоровычка пожелает с полным к тебе душевным расположением. Вот так встренулись, порадовались друг дружке, глядишь, все ладом да миром и пошло...

Поняв, что старушечий монолог может затянуться до бесконечности, Сильченко дождался первой же паузы, когда старушка решила потуже подвязать платок, и обратился к ней с вопросом, который хотел задать сразу же, как только вылез из машины.

— Вы не скажете, где живут Туранские?

— Это какие же Туранские? Их тут у нас несколько: и Федор, и Тихон, и Василий.

— Василий, — обрадованно вспомнил Николай отчество Вероники.

— Тогда иди прямо, — старушка вытянула перед собой сухую, мелко подрагивающую руку, — а как пройдешь два дома, так и поверни направо в проулок, там аккурат и увидишь избу Василия-то. Она у него приметная: на окнах синие наличники да крыльцо резное, желтое...

Веронику он увидел еще издали. В спортивных брюках и куртке, она копала на огороде картошку, сильно нажимая на лопату, выворачивала из земли гроздь клубней, встряхивала ее и сбрасывала в ведро, стоявшее в соседней борозде.

— Помощники не нужны, хозяйка? — поддельваясь под интонацию искателя заработка, чтобы скрыть смущение, спросил Сильченко.

Вероника гибко выпрямилась, и он вдруг с удивлением отметил про себя, что она сейчас выглядит совсем молодой девчонкой в этом спортивном костюме, подчеркивающим стройность ее фигуры, с раскрасневшимся от работы лицом. Она сначала непонимающе посмотрела на него, потом, узнав, вдруг бурно зарделась.

— О, какие люди! И без охраны!

Она тоже выбрала шуточный тон, за которым легче спрятать истинное чувство. Но когда они вошли в сени дома, она припала к нему всем горячим, подрагивающим телом, жарко повторяя у него на плече:

— Как ты меня нашел? Как ты меня нашел?

\* \* \*

Возле гостиницы, где остановились члены депутатской комиссии, Сильченко и Туранскую окружили около десятка женщин, среди которых Николай сразу узнал жену майора Саркисяна. Она первая из собравшихся решительно шагнула им навстречу и, не глядя на замполита, в упор посмотрела на Туранскую.

— Здравствуйте! Мы бы хотели с вами поговорить.

— Здравствуйте! — остановилась Туранская. — Пожалуйста. Может, лучше это сделать в помещении?

— Ничего, нам здесь сподручнее, — сверкнула темными глазами высокая черноволосая женщина. Сильченко вспомнил, что это жена командира хозяйственного взвода старшего прапорщика Тарасова. И остальные женщины были ему знакомы по их мужьям, офицерам и прапорщикам полка.

— Может, у вас чисто женский разговор и мне надо уйти? — он попытался шуткой хоть немного сгладить ту откровенную агрессивность, которая чувствовалась в поведении окруживших их женщин.

— У нас разговор, который и вас касается, Николай Григорьевич, — сухо отрезала Анна Саркисян и снова повернулась к Туранской.

— Вы знаете, что наш полк направляют в Зареченск?

— Да, знаю.

— А вы знаете, что там негде нам жить?

— Да, с этим есть определенные трудности, мы в курсе и по возвращении в Москву этот вопрос будет поставлен перед соответствующими инстанциями.

Женщины негодуя зашумели:

— Это мы уже слышали не раз!

— Одни отговорки!

— Никто не думает, что у нас есть дети!

— Товарищи женщины! — Сильченко успокоительно поднял обе руки. — Давайте не будем устраивать базар. И Вероника Васильевна, и другие товарищи из комиссии знают о наших проблемах. Будем надеяться, они нам помогут.

Сильченко сказал это затем, чтобы как-то быстрее закончить этот неприятный для Туранской разговор. Получалось, что она главный виновник всех бед и теперь должна держать ответ, но это было совсем не так, и поэтому упреки в ее адрес не только были бесцельны и несправедливы, но и создавали ложную иллюзию того, что найден верный источник всех неурядиц, и теперь, воздействуя на него, можно разом решить самый большой вопрос.

— Хватит убаюкивать нас! — возмущенно воскликнула Анна Саркисян. — Надоело слушать ваши партийные лозунги!

— А при чем тут партия? — начал заводится и Сильченко.

— А при том! Только и слышно: «...благодаря заботам коммунистической партии, благодаря мудрости Политбюро, благодаря ленинскому стилю деятельности Генерального секретаря!».

Она так похоже изобразила нелепо возвышенную торжественность этих штампованных заклинаний, которые с утра и до вечера звучали по радио, что женщины вокруг дружно засмеялись.

— Над чем смеетесь? — с обидой спросил Сильченко.

— Над собой смеемся, — с горечью ответила ему Тарасова. — Нам лапшу на уши вешают, а мы верим, что впереди нас ждет прямо какой-то рай.

— В общем, так, — Анна Саркисян рубанула воздух узкой ладошкой. — Мы официально заявляем товари-



шу Туранской как члену Верховного Совета, что отсюда никуда не уедем, пока не решится вопрос с жильем в Зареченске.

— Да поймите же, — Сильченко сделал последнюю попытку как-то выйти из этой шекотливой ситуации. — Вероника Васильевна — не маг, чтобы прямо сейчас обеспечить всех квартирами!

— Это мы знаем! — твердо сказала Тарасова. — Но у нас нет другого способа обратить внимание на наши беды. Поэтому мы решили: остаемся здесь до тех пор, пока власти не решат вопрос с жильем.

— Как это — остаесться? — растеряннно спросила Туранская.

— А вот так — никуда не поедем, и все.

Сильченко схватился за голову. Его и сердило упрямство женщин, которые, не поставив в известность ни командира, ни его, взяли в оборот депутатов; и он не мог не признать, что в их требованиях нет ничего сверхнеобычного. Разве можно назвать неразумным желание жить в нормальных человеческих условиях? Сколько можно за красивыми словами о долге, самоотверженности прятать обыкновенную чиновничью нераспорядительность, бестолковость, мелкий умишко?

— Но это же невозможно! — Он обвел взглядом женщин, но ни одна не опустила глаз. — Есть же приказ, мы все должны отсюда уехать.

Результатом был новый взрыв возмущения:

— Вы что, нас силой будете прузить?

— Может, еще свяжете нас?

— Или под конвоем поведете?

— Подождите, давайте разберемся. — Туранская в волнении затеребила перчатку. — Вы находитесь в чужой стране, у которой свои законы. Их надо выполнять. Ведь нельзя же здесь вести себя как дома: захотел — уехал, не захотел — остался.

— А наша страна, значит, может выбросить нас на пустырь?

— Уверяю вас, будет сделано все возможное, чтобы вы не остались на улице.

— Да это одни слова! — с отчаянием в голосе воскликнула Анна Саркисян. — Я уже знаю им цену. Когда мы в Баку все бросили, чтобы спастись, нам тоже говорили, что все будет возмещено. Но ничего же не сделано! Теперь нас хотят обмануть снова! Чтобы этого не произошло, мы заявляем, что никуда не тронемся от-

сюда, пока на новом месте у нас не будет нормальных условий для жизни.

Сильченко не ожидал такого оборота. Он подумал, что, пожалуй, женщины претворят свои угрозы в жизнь и тогда поднимется великий шум. А может, и к лучшему? Может, тогда начальство энергичней зашевелится? И он снова ощутил двойственность своего положения. С одной стороны, он, как политработник, должен сделать все, чтобы не допустить конфликта, сгладить его, перевести все страсти в спокойное русло, чтобы потом окончательно утишить волнения. Ему не раз внушали, что политработник на то и существует, чтобы даже самые дурацкие решения представлять как образец государственной мудрости. Это требовало порой такой вывернутости души, что после этого он чувствовал себя словно вываленным в грязь.

По-человечески он был на стороне женщин. Собственно, это была и его сторона, потому что все это касалось и его. Правда, он тут признался себе, что это действительно касается только его одного, потому что Татьяна с дочерью давно уже снова уехала к своим родителям, и он сначала сердился на нее, а вот теперь подумал, что, может быть, так и лучше, и ему не надо примешивать сейчас что-то личное, что касалось только его и Вероники, и не надо ни убыстрять, ни замедлять время, а надо просто дать ему возможность течь так, как оно хочет, хотя при этом очень трудно избавиться от желания вмешаться и бросить на чутко установившиеся зыбкое равновесие часы одну песчинку, одно маковое зернышко, которое и станет той недостающей каплей, что потянет вниз самый главный груз...

\* \* \*

Кофе был горячим и необыкновенно ароматным. Лишь однажды Серов пробовал такой. Как-то в воскресенье его пригласил к себе домой в гости лейтенант Пульков. Поначалу Анатолий чувствовал себя скованно — давала знать привычка видеть в офицере только его должность, словно у него не было обычных человеческих черт, а была одна обязанность повелевать, раз и навсегда отрешившая его от мира обыденной повседневности.

Но лейтенант Пульков держался так просто и дружелюбно, с таким неподдельным интересом расспраши-

вал Анатолия о доме, родных, так доверчиво смотрел на него маленький Мишка, что солдат и не заметил, как прошли у него скованность и смущение, и он почувствовал себя легко и свободно, как будто зашел к старым знакомым, которые живо интересуются новостями его жизни, потому что давно знают его и не безразличны ко всему, что происходит с ним.

Потом Галя, жена лейтенанта, принесла кофе. Вообще-то Анатолий не находил в нем ничего хорошего, да и пил-то всего несколько раз. Дома любили гонять чай, заваренные своим, особым способом — на травах, бережно собранных на летних, разомлевших от зноя лугах да по перелескам, где в тени тягуче и сладко пахнет чуть подвянувшим земляничным листом. А кофе Анатолий пил разве что в вокзальном буфете, куда, приехав в областной город, забежал перекусить. Но это был какой-то мутный безвкусный напиток, вернее, у него был привкус, но он скорее напоминал отвар из горелых спичек.

А Галя разлила по маленьким тонкостенным чашкам густую коричневую, чуть ли не до черноты, жидкость, от которой поднимался такой плотный пряный аромат, как будто вдруг в комнате повеяло душистым теплом жаровни, установленной прямо посередине узенькой, круто сбегаящей вниз улочке, на которой от зноя пряталось все живое...

— Вот это кофе! Сама варила? — Анатолий посмотрел на Квету, откровенно любуясь ею.

— Почему ты на меня так смотришь? — тихо спросила она.

— У Есенина есть стихи «Я красивых таких не видел». Это про тебя. Честно!

— Нечестно! У Есенина стихи о сестре. А я разве тебе сестра?

— У него стихи о всех любимых.

— А у тебя есть девушка? Ну, там, дома?

Он, улыбаясь, отрицательно покачал головой.

— Почему ты смеешься? Это же плохо, что нет девушки.

— Это хорошо, — сказал он серьезно.

— Почему?

— Тогда бы я не познакомился с тобой.

— Может, так было бы лучше.

— Может, ты права. Но что делать, если это случилось?

— А что случилось? Ты просто потанцевал с девушкой.

— Просто не просто... Теперь это не имеет никакого значения.

— А что, по-твоему, имеет значение?

Он обвел взглядом маленькую комнату Кветы, где стояли диванчик, обтянутый яркой плотной материей, простой невысокий шкаф для одежды, этажерка с книгами. Все выглядело обычно, но Анатолию казалось, что от вещей исходит особое очарование, как будто они впитали в себя настроение своей хозяйки и теперь неслышно рассказывали ему о ней. Рассказывали тихо и доверчиво, как говорит она сама, чуть наклоня голову так, что прядь волос убыстряюще скользит у нее по щеке и рассыпается колеблющимся веером, точно крыло птицы, приготовившейся к полету...

И он вдруг почувствовал, как уходит из сердца боль, которая так внезапно обрушилась на него, знобящей чернотой расколов мир, который он привык считать невыблемо устоявшимся...

В казарме погас свет, лишь над тумбочкой дневального горела тусклая лампочка. Анатолий закрыл глаза, пытаясь уснуть, но дремота, за которой сознание словно обволакивается туманом, все не приходила. В памяти снова и снова вставал прошедший день. Из череды лиц чаще всего выплывало искаженное злобой лицо Рубашвили, слышался его угрожающий голос.

Внезапно Анатолий почувствовал, как кто-то цепко схватил его за плечо. Он открыл глаза, приподнял голову. Возле койки, наклонившись, стоял Рубашвили.

— Вставай, поговорить надо.

Анатолий понял: будет разборка. Он не ощущал страха, просто вдруг ему стало безразлично, что с ним сделают. Он поднялся, всунул ноги в холодные сапоги и побрел в туалет. Проходя мимо дежурного по роте, он заметил, как испуганно сжался сержант Никонов, и усмехнулся: чего он-то дрожит? Никонов был ему всегда неприятен. Он так откровенно лебезил перед Рубашвили, что даже тот морщился, когда Никонов подходил к нему.

В туалете горел яркий свет, и после сумрака спального помещения Анатолий невольно зажмурил глаза.

— Чего моргаешь? — услышал он чей-то сиплый, простуженный голос и, открыв глаза, увидел Нуралиева, дружка Рубашвили. Он сидел на подоконнике и болтал

ногами. Рубашвили стоял рядом, облокотясь о стену, и тяжело смотрел на Анатолия.

— Ползком! — вдруг визгливо выкрикнул Рубашвили.

Анатолий растерянно огляделся вокруг: неужели это ему приказывают лечь на холодный заплеванный пол, прижаться к нему всем телом и, прижимая локти к грязному шершавому бетону, толчками перекатывать себя по нему прямо под ноги этого черноволосого, с хищным горбоносым лицом мучителя?

— Ты что, глухой или притворяешься, что не слышишь? Может, тебе надо ушки прочистить?

К нему, вихляясь тощим маленьким телом, подскочил Нуралиев. Он как-то сразу прилип к Рубашвили, сделался его правой рукой, рупором, соглядатаем, слугой; он готов был на все, чтобы заслужить одобрение своего покровителя, который защитит его, накажет обидчиков. А обидчиков Нуралиев видел во всех — в офицерах, которые командуют им, в сержантах, которые имеют право ему приказывать, в своих ровесниках, которые сильнее его. А главными своими обидчиками он считал русских ребят. Еще до армии, бывая на митингах, слушая выступления, в которых истеричные заклинания перемежались такими же истеричными угрозами, он пришел к убеждению, что во всех его бедах — в том, что он рос хилым и болезненным, в том, что с трудом учился, в том, что должен идти служить, — во всем этом виноваты русские.

И теперь он вымещал свою ненависть на Серове...

— Ползи к «дедушке»! — прошипел он, больно уцепив Анатолия за руку. Анатолий с омерзением оттолкнул его. Нуралиев, отлетев к двери, плаксиво затянул:

— Он не слушается!

— Сейчас он станет как шелковый! — Рубашвили толчком отделился от стены и, сжимая кулаки, быстро пошел к Анатолию. Тот напрягся, ожидая удара и готовясь ударить самому, но вдруг он заметил, как Рубашвили остановился и разочарованно опустил руки.

Анатолий с удивлением оглянулся и увидел, что на пороге стоит Поливайко. Сержант сумрачно смотрел на Рубашвили, и тот под этим тяжелым, пристальным взглядом словно съежился, и на лице его заиграла льстивая улыбка.

— Что, тоже не спится? Мы вот вышли, покурить захотелось.

— Курить для здоровья вредно. — Поливайко громадной ручищей сгреб рубашку на груди Рубашвили и приподнял его над полом. — Понял?

— Понял, — сдавленно прохрипел он.

— Это хорошо, что ты такой понятливый, е-мое.

Поливайко разжал руку, и Рубашвили мешком осел на пол. Нуралиев хотел боком прошмыгнуть, но Поливайко легким толчком усадил его рядом с Рубашвили.

— Посидите пока, остыньте.

Он повернулся к Анатолию и ворчливо произнес:

— Иди спать, Серов. Все будет нормально.

До обеда Анатолий возился с машиной, готовил ее к транспортировке. Им сказали, что главное, чтобы танки имели безукоризненный внешний вид. Командир роты даже сказал, что их будут показывать по телевидению, поэтому надо все вычистить и покрасить. Когда Серов сказал, что машины и так выглядят нормально, командир роты капитан Грошев, вечно озабоченный какими-то проблемами, а больше всего боящийся не угодить начальству и тем самым создать о себе нелестное мнение, которое закроет ему путь в академию, раздраженно фыркнул:

— Вот, еще один умник выискался! Делай, Серов, что велят, и не воображай, что ты умнее Генерального штаба. Раз сказано красить, значит, крась.

— Так ведь зачем краску зря переводить? — попытался отстоять свое мнение Серов.

— Пульков! — закричал Грошев.

Откуда-то из-за соседнего танка вынырнул командир взвода и быстро подошел к ним.

— Разберись и накажи! — От возмущения Грошев побагровел и, суетливо тыкая пальцем в сторону Серова, продолжал срывающимся голосом: — Развели тут, понимаешь, парламент! Скоро, понимаешь, каждый свое мнение будет высказывать! Все умные стали, а сапоги с вечера почистить, чтобы утром сразу же надеть, никто не догадается, понимаешь!

— А что случилось? — недоуменно спросил Пульков.

— Я же русским языком сказал: разберись и накажи! — Грошев круто повернулся и зашагал прочь, негодующе встряхивая правой рукой, точно угрожая кому-то самыми тяжелыми карами.

— Что тут у вас стряслось, Серов? — Пульков испытующе взглянул на солдата.

— Я просто сказал, что можно обойтись без лишней покраски.

— Я тоже об этом начальству говорил, но все без толку. Мне сказали, что я не понимаю политического момента, потому что весь мир будет смотреть, как мы уходим.

Пульков зло сплюнул и выматерился.

— Спектакль хотя бы устроить, да чтоб я улыбался, как на сцене! Вот им!

Он резко выбросил вперед правую руку и сжал кулак...

Пока Анатолий работал, он как-то забыл про ночной эпизод, но после обеда ему предстояло заступать в наряд, и у него оказалось полчаса свободного времени, которое отводилось для подготовки к дежурству, но это давно уже стало формальностью, потому что в наряд приходилось ходить через день и по-настоящему готовиться было просто некогда, да на это уже махнули рукой и только все делали вид, что все идет как положено, так что он зашел в ленинскую комнату, единственное место, где можно было хоть немного посидеть спокойно. Он даже взял полистать подшивку газет, последняя из которых была месячной давности, но смысл прочитанного как-то ускользал под натиском других мыслей. Анатолий вдруг представил, что было бы, не приди Поливайко. На него накатило чувство какой-то странной томительной опустошенности, как будто в нем разрушилось что-то очень важное, что раньше было в нем незаметным и естественным как способность дышать, но теперь неожиданно разладилось, рассыпалось на мелкие части, каждая из которых оказалась с острыми краями, и сейчас они обрушились прямо в сердце, больно царапая его злыми беспорядочными толчками.

И от этой ворочающейся в груди боли ему все больше казалось, что только Квете он может рассказать обо всем, что только она может его выслушать и понять...

Как все солдаты полка, он знал место, где можно было беспрепятственно перелезть через забор и уйти подалее от городка. И еще он знал, как найти Квету...

В зале гарнизонного Дома офицеров было душно, несмотря на то что все двери были открыты. Здание строили чешские строители. Но когда дело уже подходило к концу, начальство решило сэкономить и сделать вентиляцию своими силами. Как водится, из этой затеи ничего не вышло. От услуг чешских специалистов

отказались, а у самих руки не дошли по извечной безалаберности. И теперь в прекрасном помещении нечем было дышать, особенно в летнюю жару, когда зал превращался в настоящую парилку.

И даже сейчас, зимой, в зале стояла духота, поэтому в руках у многих собравшихся здесь офицеров и прапорщиков мелькали сложенные особым образом газеты и просто листы бумаги, выполняющие роль веера.

Сидя за столом на сцене зала, где расположилось гарнизонное начальство, Сильченко видел, что кое-кто украдкой дремал, делая вид, что с исключительным вниманием слушает выступающего, ведь на трибуне был представитель ГлавПУРа генерал-лейтенант Селиванов. Он срочно прилетел, как только в Москве стало известно, что в полку, который готовился к выводу, назревает чуть ли не забастовка. Высокопоставленный посланец, едва прибыв в гарнизон, где по этому случаю перекрыли движение по центральной улице, чтобы московскому гостю не досаждали прохожие, приказал немедленно собрать всех офицеров и прапорщиков, дабы провести с ними воспитательную работу.

Генерал-лейтенант Селиванов хоть и недавно пришел в ГлавПУР, но быстро усвоил тот стиль поведения, который царствовал в руководстве этого учреждения. Собственно, ему и не пришлось ломать себя, потому что всей своей предыдущей службой он был к этому подготовлен. Сначала комсомольская работа приучила его заниматься не столько делом, сколько искусной имитацией его. А этого можно было достичь только двумя путями. Во-первых, умением угодить вышестоящему начальству, которое особенно ценит личную преданность, и, во-вторых, способностью так составлять документы, идущие наверх, чтобы в них было как можно больше всяческих заверений, главным образом таких, в которых звучали фразы о готовности поддержать все устремления компартии, неважно, к чему они относились — к заготовке силоса или к дальнейшему развитию добрососедских отношений с какой-то африканской страной, обывавшей о желании построить у себя социализм, имея о нем представление, почерпнутое на обильном банкете ее очередными вождями во время торжественного визита в Москву.

В этой комсомольской школе лицедейства Селиванов оказался хорошим учеником. Особенно удавались ему звонкоголосые рапорты на больших партийных сбори-



шах. На одном из них он так упоенно прокричал о беспредельной верности Вооруженных Сил идущему по ленинскому пути руководству страны и партии, что один из представителей этого руководства очнулся от старческой дремоты и несколько раз одобрительно прикоснулся ладонями одна к другой, что на следующий день в газетах было названо бурными аплодисментами.

Это и открыло Селиванову дорогу к высокой должности в одном из военных округов. Он и там не терял времени даром, совершенствуя полученные на комсомольской работе навыки. У него остался все тот же звонкий голос профессионального пионервожатого, но теперь он словно потяжелел, налился какой-то особенной непререкаемостью, идущей от причастности к высшему партийному клану, держащему в своих руках судьбы не только миллионов коммунистов, но и судьбы всех сограждан, начиная от грудных детей и кончая немощными стариками, — всем им надлежало беспрекословно претворять в жизнь предначертания партии, какими бы бредовыми они ни оказывались на поверку.

Тут на самый верх пробивался лишь тот, кто приучался смотреть на людей не как на живые существа, которые могут болеть, умирать, страдать от голода, беспокоиться о детях, радоваться чему-то, любить друг друга, а как на статистические единицы, которых надо считать сотнями, тысячами, миллионами, а значит, испытывать к ним такие же чувства, которые испытывает железнодорожник к вагонам, рассматривая их лишь как средство доставки каких-то грузов, отсюда определяя их ценность и заботясь об их сохранности и пригодности к использованию.

Учеба эта давалась нелегко — надо было отказаться от каких-то человеческих привязанностей и привычек, вырастающих годами, проникших в сердце и душу, обретших там свое завоеванное место. Их нужно было сначала умерщвлять, чтобы потом было не так больно отсекать, но все равно рана продолжала кровоточить, и требовалось какое-то время, чтобы рубцы сгладились и не тревожили никакими воспоминаниями. Но зато и плата была поистине царской — возможность войти в такие сферы жизни, где любые желания становились легкоосуществимыми, как будто в руки попадала волшебная лампа Аладина, способная творить чудеса. Впрочем, чудесами они были только в представлении простых смертных, загнанных в свои квартиры-клетушки, стиснутых в

очередях за расползающейся в руках дешевой колбасой, считающих за отдых воскресный выход в соседний жалкий лесок, где земля усеяна пустыми консервными банками, окурками и обрывками грязных газет. Для них недостижимой мечтой было все, что в нормальной жизни считается обычным делом, — доступный автомобиль, удобное жилье, зазывная приветливость продавцов.

«Аз воздам», — сказал Господь, но почему-то больше щедрот воздается не тому, кто праведен, а тому, кто умертвил живую свою душу, наполнил ее корыстью и себялюбием...

Сильченко слушал, как читает доклад Селиванов, и не осуждал людей, которые дремали в зале, облокотившись на руку, как будто глубоко осмысливая все, что говорилось им с трибуны. На самом же деле они просто пользовались возможностью хоть немного отдохнуть от маяты, которую на них навалили в эти дни. Вот и сегодня их подняли затемно и заставили делать странную непонятную работу — лихорадочно прихорашивать городок, чтобы прибывающее московское начальство изволило полюбоваться свежепобеленными кирпичными бордюрами, однообразно подстриженными кустами и плакатами, призывающими всемерно крепить боеготовность Вооруженных Сил, а также славящих мудрость и ленинский стиль работы очередного Генерального секретаря всесильной партии. Хорошо, хоть не додумались траву красить, чтобы она выглядела бодро и жизнерадостно, рождая тем самым оптимизм и благодушие у высокого гостя, который перенес бы такое хорошее настроение и на общение с подчиненными, простив им какие-то прегрешения, коих при желании можно набрать великую уйму.

В другой раз Сильченко тоже с удовольствием бы поддался гипнозу монотонно жужжащих слов, под которые хорошо думается о чем-то своем, не имеющем никакого отношения к тому, что бесцветным холодным потоком льется откуда-то извне, словно это говорит не человек человеку, а какая-то хитроумно устроенная машина, пережевывая вложенное в нее, теперь вытягивает из себя бесконечную, уныло падающую нить. Но недавний разговор с Селивановым таким обжигающим грузом лежал на душе, что ни о какой дремоте не могло быть и речи.

Сразу после прибытия Селиванова в кабинет, отведенный для него, первыми были вызваны Климашин

и Сильченко. Генерал с сумрачным лицом сидел за столом, твердо уперев руки в подлокотники кресла, отчего его фигура приобрела какую-то угрожающую значительность. Он был маленького роста, поэтому всегда старался выбирать такое положение, чтобы казаться выше.

— Доложите обстановку, — коротко бросил он Климашину.

Тот начал перечислять, что уже сделано для отправки эшелона с боевой техникой. Сильченко видел, как от напряжения у Климашина подергивается веко левого глаза. Это у него появилось после ранения в Афганистане, и теперь, в минуты сильного волнения, нервная судорога пробегала у него по лицу. Климашин старался в таких случаях подавить ее всем усилием воли, но мышцы не слушались и выплясывали какой-то беспорядочный танец, и собеседник, незнакомый с этой особенностью Климашина, начинал с опаской смотреть на такие странные подмигивания.

Селиванов тоже с подозрением вглядывался в лицо командира полка, сидящего перед ним в напряженной позе ученика, отвечающего на вопрос излишне придирчивого экзаменатора. Селиванов любил такие минуты, когда власть поднимала его над другими, давала сладкое ощущение собственной всеисильности.

Он знал, что о нем говорили как о начальнике с крутым характером. Эта характеристика возникла после того, как он добился снятия с должности нескольких командиров полков, посчитав в ходе проверки, что они плохо выполняют свои обязанности, хотя вся вина этих офицеров состояла в том, что они позволили себе отменить политзанятия, когда обстановка требовала проведения неотложных работ на боевой технике. Здесь Селиванов встретил полное понимание и поддержку своего главпуровского начальства, которое создало из политзанятий целый культ, требующий беспрекословного поклонения. И тысячи офицеров должны были заниматься совершенно бесцельным делом — писать конспекты, рисовать плакаты, корпеть над брошюрами тех же главпуровских начальников, где с заумным видом объяснялось, почему «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее» и отчего советский солдат обязан, как родную мать, любить коммунистическую партию.

И сотни тысяч этих солдат должны были два раза в неделю осоловелыми глазами смотреть на своих отцов-

командиров, которые, загородившись тетрадью, читают им какую-то мудреную статью из какого-то журнала, специально публикующего для таких случаев материалы о бдительном несении караульной службы или о нерушимой дружбе народов в советской стране. И горе тому, кто попытается увильнуть от этой талмудистской процедуры. Недреманное око партийных доносителей немедленно выявит ослушника, которого ждет суровая кара.

Селиванов не стал медлить, а сразу перешел к тому главному делу, ради которого прилетел сюда, втайне радуясь возможности лишний раз побывать «за бугром» и что-нибудь урвать от местного товарного изобилия. Генерал при всей своей партийной занятости не чурался и земных забот, тем более что домочадцы надавали ему кучу поручений по части дефицитных приобретений. Но он привык сначала выполнить основное задание.

Выслушав Климашина, с которого он не сводил ключевого взгляда своих маленьких выцветших глаз, Селиванов насмешливо хмыкнул:

— Что-то у вас все гладко получается!

— Никак нет, — сдерживая себя, произнес Климашин. — Проблем много, но мы стараемся их решить.

— Стараемся! — саркастически протянул Селиванов. — Оно и видно, как вы стараетесь. А ты, Сильченко, куда смотришь? — Он повернул голову в сторону замполита. — Тебя партия для чего здесь поставила? Знаешь?

— Работать с людьми, — угрюмо сказал Сильченко.

— Это общие слова, а конкретно ты должен обеспечить неуклонное проведение в жизнь политики коммунистической партии. И если она решила в кратчайшие сроки вывести войска из стран Восточной Европы, значит, твоя задача объяснить людям, что так требует современная обстановка.

— Мы так и делаем, товарищ генерал, — Сильченко упрямо сжал губы.

— Плохо делаете! Это надо же додуматься: заявить, что семьи отсюда никуда не тронутся! Как вы работаете с женщинами? Куда смотрит женсовет? Куда, наконец, смотрите вы, руководители?

— Я команду полком, а не женами офицеров и прапорщиков, — изменился в лице Климашин. Веко у него задергалось еще сильнее. Сильченко под столом незаметно толкнул его остерегающе ногой.

— Я знаю, чем вы командуете пока. Посмотрим, что вы будете говорить, когда положите на стол партийный билет.

Это был самый главный козырь в руках начальства. Только красная книжечка позволяла не то чтобы делать карьеру, а просто нормально служить, когда можно думать даже о скромном служебном продвижении, стараться ради этого, не жалеть труда. Без нее все потуги были тщетными — и самая светлая голова не выручала того, кто не был членом КПСС. Получалось, что она рекрутировала в свои ряды не столько ревностных хранителей ее идеологии, сколько людей, просто озабоченных своим прокормлением и принявших на себя принадлежность к партии, как правило, некоей двусмысленной игры, в которой одни делали вид, что чему-то верят, а другие делали вид, что они верят в то, что кто-то во что-то верит.

Сильченко почувствовал, что сейчас может произойти непоправимое, — Климашин побелел так, что у него даже стали видны оспинки на крыльях носа, — и решил принять огонь на себя.

— Это моя вина, товарищ генерал.

Селиванов, видимо, тоже понял, что он в своих угрозах зашел слишком далеко, и сейчас заметно обрадовался случаю как-то разрядить возникшее напряжение.

— Хорошо, что сами видите свои промахи, — примирительно заметил он. — Надо с людьми поговорить, объяснить им, что вся страна находится сейчас в трудном положении. Нельзя же требовать невозможного! Так у нас никакие дела не продвинутся вперед. И если это толково объяснить, усилить воспитательную работу, то не придется принимать крайних решений, в которых никто не заинтересован. В конце концов, мы должны думать не только о себе.

— Да, кстати, — вспомнил Селиванов. — Какие сведения о солдате, который сбежал у вас?

— Ведутся розыски, — болезненно поморщившись, произнес Климашин. — Чешские товарищи обещали помочь. Пока, к сожалению, обнадеживающих результатов нет.

— Порядка у вас нет, вот что! — Селиванов опять вернулся к привычному для себя тону экзаменатора, которого радует каждый промах ученика. — Какие меры приняты к командирам, допустившим такое безобразие?

— Товарищ генерал, пока неясно, из-за чего все произошло, — попытался вставить слово Сильченко.

— А мне все ясно! — возвысил голос Селиванов. — Командира взвода и командира роты немедленно исключить из партии, а вам тоже будут объявлены самые строгие взыскания.

\* \* \*

— Мне надо идти, Квета!

— Подожди, останься, у меня родители уехали на отдых, мы будем только вдвоем.

— Меня уже, наверное, ищут.

— Но ты же не преступник, чтобы тебя искали.

— Нельзя. У нас это считается преступлением.

— А разве не преступление, что ты сейчас должен уходить? Это преступление передо мной, перед нами обоими. Ты уедешь, и мы больше никогда не встретимся.

— Я вернусь! Я обязательно вернусь!

— Нет, у меня плохое предчувствие. Ты не вернешься.

— Почему?

— Я так чувствую. Сердцем.

— Глупенькая! Все будет хорошо.

— Я боюсь.

— Чего?

— Не знаю. Ты только не смейся надо мной, ладно?

— Обещаю... Обещаю, что никогда не буду над тобой смеяться.

— Да? А почему же ты тогда сейчас улыбаешься?

— Это потому, что мне с тобой очень хорошо.

— Значит, ты остаешься?

— Да...

Это хорошо, что идет дождь, и крупные холодные капли часто стучат в окно, и ветки старого клена перед домом влажно блестят в подрагивающем свете фонаря, и улица пустынна, как будто все жители неожиданно собрались и уехали в другой город, а может, в другую страну или даже на другую планету...

Это хорошо, что идет дождь, потому что тогда кажется, что они одни в целом мире, и никто не придет к ним, и не будет стучать в дверь, и не заглянет в окно, и ничего не скажет им...

— Ты не спишь, Квета?

- Нет. Мне хорошо с тобой.
- Мне тоже, Квета.
- Почему ты все время повторяешь мое имя?
- Мне оно очень нравится. А что оно обозначает?
- Квета от слова «кветины», по-русски цветы.
- Значит, ты цветок?
- Это имя такое.
- Как хорошо, что у тебя такое имя!
- А если бы оно было другое?
- Другое не могло быть.
- О, у нас много имен!
- И все равно это только твое имя...

Это хорошо, что идет дождь, и дом, как старый, скрипывающий снастями корабль, одиноко уплывает во мглу, погасив огни и доверившись ветру, течению, судьбе...

У него всего одна каюта, в ней тепло и тихо, только брызги волн стучат в стекло, и ветер качает лампу, и горячие руки встречаются, как посланцы двух миров, которые еще недавно были так далеко друг от друга, а потом стремительно полетели навстречу друг другу по звездной тревожной дороге, теряя и снова находя обжигающий ток крови, дыхание, блеск глаз...

И уже не пугает ветер, и льется откуда-то музыка, такая просторная и ясная, как тихое осеннее поле, через которое надо долго идти, и пока идешь, оно становится все шире и просторнее, как будто нет у него конца, а есть только дорога, огибающая прозрачный березовый лес, и высокое чистое небо, и далекий журавлиный клин, что тающей волнистой строчкой прошивает легкую, звенящую синеву...

- Спи... я всегда буду с тобой...
- И я тоже...
- Какой ты смешной в пижаме! Совсем как мальчик!
- Здравствуйте, ты же сама дала мне эту пижаму!
- Да, мне не нравится твоя форма. Мне вообще не нравится военная форма.

— Мне тоже. Но что делать?

И сразу закончился праздник. Он еще жил, звенел, но уже как-то тише, слабее, точно уплывал, торопился прочь...

— Что с тобой?

— Ничего. Просто мне надо вернуться в часть. Но мне не страшно. Я знаю теперь, зачем буду жить.

— Не надо переживать. Все будет хорошо. Я отвезу тебя на мотоцикле.

— Ты умеешь ездить на мотоцикле?

— А еще я умею водить яхту, кататься на лыжах, играть в теннис.

— Здорово!

— Я тебя тоже этому научу.

— На лыжах и я умею.

— А с гор ты катался?

— Нет.

— Вот видишь!

Сырой ветер с размаху бьет в лицо, и мокрая мостовая стремительно летит под колеса, мелькают и с коротким обрывающимся шумом остаются позади деревья...

— Скоро будет поворот направо, ты меня там высади, дальше я дойду сам.

— Хорошо! Ты позвони мне. Я буду ждать.

...Откуда эта слепящая черная тень? Зачем она обрушилась на них?

...Водитель грузовика, вынырнувшего из-за поворота, с ужасом увидел, как мотоцикл с парочкой вдруг крунулся на маслянисто поблескивающей брусчатке и его бросило прямо под колеса тяжелой машины, не успевшей сбавить ход.

\* \* \*

Дрова в печке никак не хотели разгораться. Пульков уже в который раз засовывал в топку клочок газеты, подносил к ней зажженную спичку и надеялся, что теперь-то все получится. Но пламя, жадно поглотив бумагу, лишь нехотя обегало по краям поленьев и торопливо пряталось в золе, словно ему не по вкусу пришлось старая горьковатая осина. Пулькова удивляло, почему этот процесс разжигания так ловко выходил у Гали — дрова у нее разгорались так весело и дружно, как будто им самим доставляло удовольствие купаться в слоистом, жарко полыхающем огне, от которого печка начинала уютно гудеть.

Он, кажется, все перепробовал — и втискивал в печку такой огромный пук бумаги, что поленья угрожающе потрескивали; и изо всех сил дул в топку, пытаясь заставить устало опадающий язычок пламени снова окреп-



нуть и с потрескивающим шипеньем устремиться вверх; и лстыиво подсовывал под серые тяжелые чурбаки тонко струганные щепочки, которые должны были взять на себя коварную роль возбудителя маленького рукотворного пожара.

Все было напрасно. Бумага бурно сгорала, точно не желая делиться жаром с поленьями, от пыхтящего усердия из печки толчками вываливался сизый удушливый дым, а щепочки, видно, из солидарности к общему древесному роду испуганно отталкивали от себя флажком поднятый огонек спички.

Оставалось старое средство — плеснуть на дрова бензин. Правда, тут можно было не рассчитывать — не на морозе же костер разводился, когда пламя взвивалось вверх на несколько метров, — и, чего доброго, разнести печку, но Пулькову так надоело елозить на корточках возле этого чертова обогревательного сооружения, что он махнул рукой на риск оказаться буквально у разбитого корыта и пошел на веранду за бутылкой с бензином.

Он предусмотрительно отодвинулся в сторону от жерла топки и, прижмутив глаза, резко взмахнул бутылкой, стараясь, чтобы струя жидкости как можно дальше попала на дрова. В печке на секунду все стихло, потом что-то отчетливо щелкнуло, протяжно вздохнуло, и вдруг раздался такой слитный ревущий гул, что Пульков мгновенно отскочил к стене, со страхом ожидая, что раздастся взрыв и во все стороны полетят раскаленные кирпичные осколки.

Но, зная, добрый мастер на совесть сложил печку, что она выдержала даже такое варварское с ней обращение. Пламя, хлебнув изрядную порцию бензина, буйно заплясало на поленьях, раскалывая их змеистыми огненными трещинами и обрушивая вниз жаром полыхающие угли. Пульков с облегчением перевел дух. Он уселся на низкую табуретку перед топкой, поставил локти на колени и положил на руки голову. Он вдруг подумал, что страшно давно не сидел вот так у печки, отрешенно всматриваясь, как огонь трудолюбиво перемешивает в топке раскаленные многоцветные пласты.

Заклокотал, суетливо забулькал чайник на плите, и Пульков, морщась, ухватил горячую ручку и торопливо налил в кружку кипятку, добавил туда заварки и принялся прихлебывать чай. Можно было приготовить себе на ужин что-нибудь посущественней, но ничего не хоте-

лось делать. Без Гали и Мишки все валилось из рук, и он только по необходимости, пересиливая апатию, выполнял самую несложную работу, постоянно натываясь то на брошенный Мишкой игрушечный автомобиль, то на старые Галины тапочки, и это еще больше превращало его одиночество в горестную непереносимую муку.

Перед ней отступило все, что было еще недавно таким необыкновенно важным, — последние дни перед выводом, тягостная история с Серовым, который так нелепо погиб, долгая дорога сюда, в Зареченск. Даже собрание, на котором его и Грошева исключали из партии, вспоминалось теперь лишь как глупая, торопливая комедия. Он, вступавший в партию когда-то с надеждой, что обретет в ней ту заботливую товарищескую поддержку, которая поможет ему стать лучше, чище, просветленней, с горьким запоздалым откровением увидел, что она словно специально создана для таких, как генерал Селиванов, который считает ее дополнительным инструментом в руках, позволяющим использовать его для достижения собственных целей. И когда ему объявили, что большинством голосов партийной организации он исключен из рядов КПСС, он воспринял это не как решение тех, с кем он вместе служил, делил и трудности, и заботы, а как решение того же генерала Селиванова, которому надо было его наказать, чтобы этим наказанием снять все подозрения у тех, кто выше его, что он проявил слабость и, значит, может колебаться и в другой раз, когда потребуются решать что-то неизмеримо важнее, а это уже серьезно, потому что может изменить мнение о нем у самых первых лиц, которые решают уже его судьбу, перед которой судьба какого-то лейтенанта предстает мимолетным звуком, раздавшимся и тут же рассеявшимся в воздухе, не оставив никакого следа, задевающего душу...

И Пулькова не удивило, что на собрании его защищали только двое — старший лейтенант Стахович и старший прапорщик Тарасов, а остальные молча проголосовали за его исключение, потому что тоже знали, что именно это нужно генералу Селиванову и тем, кто за ним стоит, и бессмысленно сопротивляться им, потому что они все равно сильнее уже тем, что у них власть, и эта власть беспощадно раздавит каждого, кто осмелится усомниться в ее всесильности.

Сильченко на собрании не было, но на следующий день он разыскал Пулькова.

— Ну, что? — спросил он, внимательно посмотрев на Пулькова. — Как самочувствие?

— Нормальное, — пожал плечами Пульков. — Стреляться и вешаться не собираюсь.

— Это правильно. Это еще не конец света. Есть еще парткомиссия, ЦК, в конце концов.

— Никуда я писать не буду.

— А вот это ты зря! Обиделся, что на собрании тебя не отстояли? Но ты же не маленький, должен понимать, что в жизни не все так просто.

— Понимаю. Но одного не могу понять, чем же это я перед партией провинился?

— Это ты брось. Тебя партия не обвиняла.

— Да? А как же решение, где записано, что я недостойн быть в ее рядах, потому что плохо выполнял свои обязанности, что привело к гибели солдата. Я, что ли, его заставил это сделать?

Пульков даже не заметил, что последнюю фразу почти выкрикнул. Его закружила какая-то душная, горячая волна, в которой смешалось все — и боль, хлынувшая в сердце, когда он увидел раздавленное, обезображенное тело Серова, и ненависть к какой-то затаившейся силе, что придумала все это, и горестная обида на самого себя, что не сумел отвести беду, понадеялся, что все как-нибудь обойдется, не первый раз подобное случается, пронесет и сейчас.

Не обошлось, не пронесло...

И теперь он старался заглушить в себе чувство вины, потому что тогда жить было бы совсем непереносимо, но, чем больше и упорнее он это делал, тем все сильнее жгло ему сердце ощущение неубираемой причастности ко всему случившемуся и тем сильнее он ждал, что кто-то постарается разуверить его в этом; не в том, что он не должен ничего чувствовать, а в том, что просто не увидел, как обычные на первый взгляд случайности неотвратимым образом складываются в роковую цепочку, которая вытягивалась у всех на глазах, но никто ее не видел, и он первым не угадал, куда и кого она затягивает, хотя обязан был это сделать, потому что лучше других знал Анатолия.

А теперь его нет. Но разве он хотел, чтобы случилось именно так? Разве хоть случайным словом он подтолкнул маятник именно в эту сторону?

Так почему же все решили, что он так и поступил, что именно он сдвинул камень, лежавший до того на

склоне, а потом от чьего-то толчка сорвавшийся вниз, увлекая за собой целую грудку таких же камней, отчего и образовался весь этот обвал? Да, его вина, что он не увидел, что камень потерял неколебимую устойчивость, но он совсем не собирался выталкивать его из гнезда, чтобы он потом все снес на своем пути вниз...

— Это не партия такое решение приняла, — упрямо повторил Сильченко. — Просто у нас начальство считает, что полезно наказать еще и от имени партии. И надо доказать, что это неверно.

— Ничего никому я не хочу доказывать, — Пулков устало переступил с ноги на ногу. Его тяготил этот разговор, который нес в душе новую ноющую боль, от которой ему хотелось быстрее избавиться, чтобы можно было нормально хоть дышать, не ощущая, как при каждом вдохе в груди словно вспыхивает жаркий луч, пронизывающий все тело...

Кто-то шумно протопал по скрипучим ступенькам крыльца веранды и, стукнув дверью, громко спросил:

— Хозяин дома?

Пулков узнал голос старшего прапорщика Тарасова:

— Есть, заходите.

Он поднялся, вышел в узенький коридорчик и, пошарив по стене, щелкнул выключателем. На пороге стояли Тарасов и старший лейтенант Бронислав Стахович. Он первым шагнул навстречу Пулкову.

— Привет, старик! Как ты тут? Гостей принимаешь?

— Вы извиняйте, — смущенно заговорил Тарасов. — Бронислав Евдокимович сказал, что вас надо провести. Вот мы и зашли.

— Ну, и правильно сделали. Прошу.

Пулков приглашающим жестом открыл дверь в комнату.

— Да у тебя тут настоящий Ташкент! — обрадованно произнес Стахович. — А я околеваю от холода в своей комнате для пионервожатых. Вот уж никогда не думал, — засмеялся он, — что снова попаду в пионерский лагерь.

То ли приезжавшие депутаты замолвили слово, то ли забастовка женщин подействовала, но в Зареченске семьи офицеров не оставили на улице. Их разместили в пустующем пионерском лагере неподалеку от города. Правда, большинство его помещений не были подготовлены к зиме, поэтому первое время многим пришлось

побыть в положении полярников, выброшенных на необитаемую льдину.

Но нужда всему научит, и неожиданные обитатели пионерского лагеря быстро приспособились к новой обстановке. Стены в несколько слоев оклеили старыми газетами и бумагой, утеплили двери и потолки, поставили электрические обогреватели.

Семьи, в которых были маленькие дети, поселили в домики, где стояли печи. Пульковым тоже отвели крошечную избушку, где до этого жил сторож лагеря.

И хотя печь топилась почти круглосуточно, в единственной комнате было по временам холодно от ветра, нещадно обдувавшего тонкие стены, унося с собой драгоценное тепло. Они с Галей как-то не замечали этого, но Мишка простыл. Однажды ночью он проснулся от непрерывного детского кашля. Мишка, разметавшись, лежал на чемоданах, из которых ему соорудили кровать, и что-то бессвязно бормотал.

Галя положила ему на лобик ладонь и вскрикнула:

— У него жар!

Дмитрий накинул на себя куртку и побежал к дежурному по части. Майор Саркисян молча выслушал Пулькова и коротко сказал:

— Бери санитарную машину и вези сына в ближайшую больницу.

Когда Дмитрий, подъехав к самому дому, взбежал на крыльцо и быстро прошел в комнату, он увидел, что Галя, обхватив Мишку, с плачем склонилась над ним.

— Успокойся. — Дмитрий осторожно положил руку ей на плечо. — Едем в больницу.

Они вдвоем укутали сына, и Дмитрий поразился, каким он стал тяжелым, словно жар, наливший худенькое хрупкое тельце Мишки, сразу утяжелил его своим сухим тревожным весом.

Водитель, на счастье, знал, как проехать к ближайшей больнице. Они остановились у длинного приземистого здания с полуобвалившимся крыльцом и кучей мусора возле одного из окон. От всего веяло какой-то безнадежной заброшенностью, словно отсюда давно ушли люди, лишь кое-кто иногда навешает здание как бы для того, чтобы убедиться, что оно еще не совсем развалилось.

— Ты не ошибся? — недоверчиво спросил Пульков водителя.

— Никак нет, — простуженно ответил солдат. —

Больница тут. — И он для убедительности показал рукой на барак.

Пульков постучал в заиндепевшую дверь. За ней слышались шаркающие шаги, потом послышался сердитый женский голос:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста! — заторопился Пульков. — У нас больной ребенок.

Дверь со скрипом отошла, и на Пулькова пахнуло каким-то кислым душным теплом. Подслеповато шурясь со сна, на них смотрела пожилая полная женщина в накинутом на плечи коротковатом, не первой свежести халате.

— Что у вас случилось?

— У ребенка жар, — сквозь рыдания еле смогла выговорить Галя.

— Пройдите, — сухо сказала женщина.

Они вошли в маленькую комнату, где стояли обыкновенный письменный стол и топчан, до половины покрытый старой клеенкой.

Галя обессиленно опустилась на него, все так же прижимая к груди Мишку.

— Фамилия, где живете, — равнодушно произнесла женщина, усаживаясь за стол и достав из ящика толстую, в синей потрепанной обложке тетрадь.

Пульков принялся объяснять, что они лишь недавно приехали в Зареченск.

— Так вы без прописки? — удивленно спросила женщина, с сомнением посмотрев на них.

Дмитрий развел руками.

— Тогда мы ничем не сможем вам помочь, — дежурная украдкой подавила зевок и спрятала тетрадь в ящик стола.

Пульков растерянно взглянул на нее:

— Как это?

— Вы не наши, раз нет прописки.

— Но при чем тут прописка, если ребенок заболел?

На миг ему показалось, что все происходит в каком-то страшном, мучительном сне, где звучат слова, смысла которых, сколько ни напрягайся, нельзя понять.

— При том, что такой порядок, — ворчливо заметила дежурная, и Пульков понял, что это не сон, а реальность, но такая, что страшнее самых кошмарных сновидений. Только в ней может существовать такой порядок, что человек имеет право жить лишь тогда, когда он где-

то зарегистрирован, как будто без этой отметки он лишается всего, что определяет его существование, и становится чем-то вроде нарушителя, тайно проникшего на обжитую территорию и требующего себе воды, хлеба, крыши над головой.

Мишка застонал так жалобно, так просяще, что у Пулькова оборвалось сердце. Преодолевая боль, сверлящим жжением опалившую грудь, он подошел к столу, крепко ухватился руками за крышку и, глядя прямо в беспокойно заматавшиеся глаза дежурной, раздельно выговорил сухими онемевшими губами:

— Если вы не сделаете все, что положено, я вам такое устрою...

— Хорошо, хорошо, — почему-то шепотом произнесла дежурная. — Сейчас я вызову врача...

У Мишки оказалось воспаление легких. Галя осталась вместе с ним в больнице, и вот уже вторую неделю Дмитрий был один. Днем на службе за делами он забывался, а вот по вечерам на него наваливалась гнетущая, гложащая сердце тоска. Поэтому он был рад друзьям, заглянувшим к нему.

— А у меня, кроме чая, и угостить нечем, — смущенно признался он.

— Да вы не беспокойтесь, — Тарасов достал из портфеля бутылку водки, буханку хлеба, несколько луковиц и селедку, завернутую в промаслившуюся бумагу.

— Царский стол, — засмеялся Стахович, когда все содержимое портфеля было аккуратно разложено по тарелкам, которые Дмитрий достал из солдатской тумбочки, приспособленной под посудный шкафчик. — За что пьем?

— Чтоб все было хорошо, — предложил Тарасов, бережно держа рюмку в толстых сильных пальцах.

— Великолепно, Степан Маркелович! — Стахович покачал рюмку, наблюдая, как водка облизывает края. — Я позволю себе только кое-что уточнить. Меня не устраивает, чтобы хорошо было всем. Есть люди, которые заслуживают лишь того, чтобы им было плохо. Поэтому предлагаю выпить за то, чтобы хорошо было только хорошим людям.

— Уточнение принимается, — улыбнулся Пульков.

От выпитой водки у него по телу легкими и частыми волнами прошло тепло. Он словно вдруг очутился на мягких, бесшумных качелях, то стремительно и плавно падая вниз, так, что начинала кружиться голова, то

медленно выходя из этого падающего вращения и снова начиная слышать голоса, видеть лица, ощущать под ладонью ребристый край стола.

— Я сегодня утром проснулся, — раскрасневшись и оживленно поблескивая серыми, прищуренными глазами, рассказывал Стахович, — и не могу головы поднять, то есть все вижу, все слышу и ясно соображаю, а головой повернуть не мог. Что за черт! Потом сообразил, что это просто волосы к подушке примерзли.

— Это что! — словоохотливо загудел Тарасов. — Я вот на Чукотке служил, там чукчи прямо в снег ложатся, кухлянкой своей накроются и спят, как на перине.

— Ну, я уже без кухлянки могу в снегу спать, — захохотал Стахович. — Спасибо родному правительству, что оно так заботится о моей закалке.

— А по мне, так холод лучше, — продолжал Тарасов. — Я вот когда в Африке был, так не знал, куда от жары этой проклятой деваться. А холод, что же? Потеплее оделся и — вперед!

— Степан Маркелович! Да вы ходячий клуб путешественников, — наклонился к нему Пульков.

— Да какие там путешественники! Они — сами, а тут говорят: «Надо!» А потому — терпи. В Африке этой когда был, иной раз совсем немоготу становилось. Ничего, Бог миловал. Опять же — ребята эти, африканские, очень благодарили. Я им по технике помогал осваиваться. Ихние командиры, чуть что, сразу палкой по спине. Я поначалу прямо сказал: разве ж так можно с солдатами обращаться? А мне говорят, вы, господин Тарасов, только технический советник. Что по технике — мы слушаем, а остальное — это наше дело. Ладно, говорю, только все равно нехорошо. В общем, поговорили. А потом я заметил, что бить все-таки перестали. Во всяком случае, при мне этого не делали.

— Терпеть не могу этого слова «надо», — пристукнул кулаком по столу Стахович. — Кому это — надо? Мне после училища говорят: «Надо, лейтенант Стахович, послужить в ТуркВО». А то, мол, намерзся в своей Белоруссии, вот и погреешься на солнышке. Ладно, греюсь, аж мозги кипят. Потом опять говорят: «Надо отдать интернациональный долг». Ладно, говорю, отдам долг, хотя и не брал его. Заком командира полка в Афгане был тогда майор Климашин. Все шло путем. А потом его у нас забрали в дивизию, а вместо него



прислали из Москвы одного... быстрорастущего. Сын-  
нок большого деятеля оказался. Всю службу в кадри-  
рованных частях отирался, а тут папашкины друзья  
решили из него героя сделать, чтобы дальше толкать.  
Ну, начал нас учить, как надо воевать. И пошла у нас  
сплошная строевая подготовка — больше-то он ниче-  
го не умел. Строевые смотры — через день, подход к  
начальству и отход от него отрабатывали. Ну, я раз  
подошел и не выдержал, сказал пару лаковых. А мне  
за это — представление на орден похерили, а потом  
вообще кислород стали перекрывать. Вижу, дело пах-  
нет керосином. Хорошо, Климашин узнал, помог в дру-  
гой полк перейти.

— А меня Господь сподобил миновать Афган, —  
печально сказал Тарасов.

— И очень хорошо! — Стахович высоко поднял  
рюмку. — Выпьем за тех, кто не вляпался в это дерь-  
мо! А ведь кому-то нравится в нем сидеть. А чего? Теп-  
ло, сладостно. Подонки! — крикнул он и обвел всех  
блуждающим взглядом.

— Ну, зачем же так обо всех? — примирительно  
сказал Тарасов.

— Верно, не обо всех. — Стахович с силой опустил  
рюмку на стол так, что водка плеснула через край. —  
Солдаты не виноваты. Их посылали. Их просто броса-  
ли под пули, и никто не спрашивал, хотят они этого  
или нет. А мы, офицеры? Почему никто из нас не отка-  
зывался? Ведь мы же лучше солдат понимали, что вое-  
вать в чужой стране — это преступно. Почему же мы  
покорно выполняли все, что нам приказывали? А мно-  
гие даже с удовольствием это делали — стреляли, уби-  
вали. Таких же людей убивали! Почему? Ведь ехали,  
даже сами просились. Тут вот в газетах об одном ге-  
рое пишут, летчике. Его один раз долбанули в Афгане,  
так он очухался и снова туда полез. Не понимаю! Нор-  
мальный человек добиваться возможности убивать раз-  
ве может? Я понимаю, когда это делают, если враг  
напал на страну. Но писать рапорта, обивать пороги,  
чтобы поехать в чужую страну и убивать там, — не  
понимаю! А вы что-нибудь понимаете?

— Я понимаю. — Дмитрий толчком отодвинул стул  
и подошел к окну. — Я понимаю! Потому что я видел,  
как горят дома и как плачут женщины, чудом избе-  
жавшие смерти.

Он прижался пылающим лицом к холодному окон-

ному стеклу. За ним стояла глухая беззвездная ночь, а у него перед глазами горело синее, высокое небо, празднично белели вершины далеких гор и прямо по склону плыло над землей розовое, нетающее облако. Он видел его сейчас так ясно и близко, как будто снова бежал по узкой каменистой тропе, оскальзываясь на осыпях и больше всего на свете боясь, что не успеет добежать и вдруг налетевший ветер унесет это облако, чтобы безразлично бросить его где-нибудь в ущелье, куда никто не сможет дойти...

Оглушительно громко стукнула дверь. Пульников обернулся. На пороге стояла Галя. Она судорожно прижала руки к груди и смотрела перед собой тяжелым, неподвижным взглядом.

Дмитрий бросился к ней:

— Что случилось? Где Мишка?

— Нет нашего Мишки, — ровным, бесцветным голосом сказала Галя и, пройдя в комнату, начала что-то бесцельно перебирать в коробке с нитками, стоящей на тумбочке.

Дмитрий почувствовал, как что-то с размаху тяжело и остро ударило его в грудь. Ему вдруг показалось, что сердце вырвалось наружу и куда-то исчезло, а на его месте образовалась огромная зияющая трещина, куда он стал стремительно и страшно падать...

\* \* \*

Вышка руководителя стрельб напоминала Климашину рубку корабля — та же вознесенность на высоту, откуда полигон виделся, как море, где волны застыли белыми округлыми всхолмьями, по которым, точно лодки в шторм, перекачивались приземистые коробки танков. Обычно он ощущал здесь особый душевный подъем, когда однообразие буден, где за чередой каждодневных хлопот не виден результат, сгущается до минут предельного напряжения, которое не по крохам, не по догадкам, а сразу и откровенно выносит оценку всему, что было до сих пор и казалось вполне устроенным, а теперь с каждым выстрелом танковых пушек, раскатывающих по земле гулкое горячее эхо, подтверждалось или опровергалось.

Но сегодня Климашин чувствовал себя так, будто он попал не в свой полк, где было все узнаваемо и по-

нятно, а в какую-то другую часть, куда его пригласили по ошибке и теперь никак не собирались представлять перед ним в более выгодном свете. Он еще раз взглянул на таблицу результатов стрельб и длинно вздохнул; экипажи с трудом укладывались даже в те нормативы, что были установлены для самых снисходительных оценок.

— Слабовато стреляем, Сергей Арутюнович, — Климашин дипломатично разделил ответственность с майором Саркисяном, хотя слабо стрелял именно его батальон, но комбат очень болезненно воспринимал упреки, поэтому Климашин и не стал сразу обвинять его во всех грехах.

— Так ведь, товарищ подполковник, надо учесть фактор неожиданности, — все-таки не сумел перебороть обиду Саркисян, нахохлившись возле радиостанции, точно какая-то беспокойная птица, терпеливо стерегущая свою добычу. — Никто же не думал, что командующий прикажет провести стрельбы именно сейчас.

— Начальству виднее, — сказал Климашин, но в душе был согласен со своим комбатом. Полк только что прибыл на новое место, только начал обустриваться, а тут на тебе — стрельбы.

— Кто у тебя на очереди? — Климашин повернулся к комбату.

— Взвод лейтенанта Торчака.

— А, этого... — поморщился Климашин.

По правилам в группы войск должны были прибывать офицеры по замене, уже послужившие, накопившие хоть какой-то опыт. Все-таки это был, как говорилось, передний край, здесь с зелеными новичками возиться некогда.

Но лейтенант Павел Торчак явился к ним в полк сразу после выпускного училищного вечера. В отделе кадров Климашину намекнули, чтобы он с пониманием отнесся к молодому лейтенанту, все-таки у него папаша на самый верх вхож.

— У меня не детский сад, — резко ответил Климашин, который всей душой не терпел «блатные» кадровые игры, но ему сказали, что вопрос решен на самом высшем уровне, и он, проклиная себя за уступчивость, махнул рукой. Да и что он мог сделать, если вся армия погрязла в лихорадочном ажиотаже протекций! Все офицеры знали о сыновьях министра оборо-

ны, которые в рекордно короткие сроки стали генералами и уже претендовали на крупные посты.

От министра не отставали и другие начальники, рангом поменьше. На лампасные должности стремительно хлынули всякие сыновья, зятья, племянники, братья, просто родственники знакомых и другая «позвоночная» публика. При назначении во внимание принимались не действительные заслуги, усердие, способности, а степень приближения к какому-нибудь бонзе. Особенно почитались родственнички партийных шишек. Они смело могли рассчитывать на самые льготные продвижения.

Простые честные офицеры, не имевшие «лапы» наверху, лишь бессильно смотрели, как армию превращают в кормушку для партийных и военных чиновников, обремененных заботой только о своих шкурных интересах. Понятия чести, добропорядочности рушились на глазах, а без них армейский организм все сильнее и сильнее поражался гниением.

Но профессиональные лакировщики типа генерала Селиванова наиболее зловонные язвы старательно замазывали, закрашивали их, чтобы они смотрелись благопристойно, не забывая при этом поживиться и самим. Всеми правдами и неправдами проталкивали они своих отпрысков в части, несущие службу за рубежом. Не мысли о боеготовности двигали ими, а манили земные блага, которыми оскудела родная сторона, склонившая голову перед чужбиной, что не пустила в распыл свои богатства, а по-хозяйски приумножила их.

Лейтенант Торчак произвел на Климашина впечатление человека, который спит на ходу, — настолько вяло он двигался, будто боялся, что его рыхлая, мешковатая фигура потеряет равновесие от резкого жеста. Оставалось только надеяться, что лейтенант с течением времени хоть немного подтянется.

— Как у него дела идут? — спросил Климашин.

— Лодырь, — коротко ответил Саркисян. — Гнать надо таких из армии.

— Легко сказать — «гнать», — хмыкнул Климашин. — Мне чуть не каждый день звонят, напоминают, что молодым офицерам нужна особая забота. Как будто я сам не знаю, что им нужно. Справедливость — вот что им нужно в первую очередь! Чтобы по делам смотрели, а не по должности папаши.

— Э, товарищ подполковник, тут уж ничего не пе-

ределаешь. Будь головой хоть как сам Суворов, но если нет «лапы наверху», никуда особенно не выдвнешься. Как говорит один мой знакомый, что «у начальства тоже есть свои сыновья, которые тоже хотят быть начальниками».

— Эту присказку я тоже слышал. Только считаю — не от большого ума ее придумали. Если хочешь чего-то добиться, а «лапы наверху» нет, как ты говоришь, значит, делом докажи, что ты на что-то годен. Когда я в Афган второй раз просился, на меня смотрели как на... того... с приветом... Начальник штаба, хороший был мужик, говорил: радуйся, Климашин, что ты живым оттуда выскочил, какого хрена еще раз судьбу хочешь испытать? А я тогда командиром батальона был и понял, что так могу на этом и застрять, потому как для дальнейшего продвижения никакой «лапы» не имею. Значит, или пан, или пропал. Добился все-таки, что снова послали в Афган.

— Значит, все-таки не обошлось без протекции?

— Ну, под пули особой протекции не требуется. Это тебе не в Москву на генеральскую должность, куда простому смертному дорога заказана. А в окопы да куда похлеще — пожалуйста. Вот и пришлось еще раз под солнышком пожариться да с «духами» потолковать. Зато уж с таким послужным списком кадры сами меня взяли на заметку.

За широким, во всю стену, окном вышки отрывисто ухнула танковая пушка, за ней дробно простучал пулемет. И мысли Климашина снова вернулись к тому, что происходило на этом лежащем перед вышкой поле, изрезанном рубчатыми отметинами танковых гусениц, опаленном горячим металлом снарядов и пуль.

— Жалко, Пулькова нет, — сказал он, поднеся к глазам бинокль. — Вот он бы показал класс.

— Да, парню досталось, — нахмурился Саркисян.

— Как у него сейчас дела?

— Доктора говорят, что положение серьезное.

— Сердце вообще штука серьезная.

— Вот так живешь и не знаешь, где тебя беда подстерегает.

— Ну, Пульков выкарабкается. Парень молодой, все еще впереди.

Климашину самому хотелось уверить себя, что лейтенат обязательно поправится. Не должно быть такого, чтобы на одного человека сразу навалилось столько

бед. Несправедливо это. Почему у кого-то жизнь идет как по маслу, без всяких проблем, а другому судьба преподносит одно испытание за другим, словно задавшись целью испытать его на прочность, прокалить в огне, остудить водой?

В углу звонко зажужжал телефон полевой связи. Трубку поднял оператор пульта мишенной обстановки, высокий худой солдат в старой, заношенной куртке, которая мешковато сидела на его угловатых плечах. Он выслушал, что ему сказали, и торопливо повернулся к Климашину.

— Товарищ подполковник, вас к телефону.

Климашин взял протянутую ему трубку. Лицо его приняло озабоченное выражение.

— Час от часу не легче, — сказал он Саркисяну, не отрывая трубки от уха.

— Что-нибудь случилось? — встревожился комбат.

— К нам едет командующий... — Климашин придирчиво оглядел помещение вышки. Грубо оштукатуренные стены и низкий, в ржавых пятнах старых подтеков потолок заставили его вздохнуть, вызвав в памяти учебный центр, оставленный в Чехословакии. Аккуратное кирпичное здание походило на уютный загородный домик, любовно ухоженный заботливыми сновистыми руками. Помогли шефы из кооператива, что находился неподалеку от части. Климашин хорошо знал его председателя Яна Прохазку, приземистого, широкого в кости мужчину сорока с небольшим лет, всегда энергичного, деятельного.

Он по-хорошему завидовал, как живут в кооперативе. У всех добротные дома, которые где-нибудь в нищей российской глубинке считались бы роскошными дворцами, а здесь воспринимались как обычное нормальное жилье, где есть все необходимое — подземный гараж, своя сауна, вместительная кладовая для продуктов.

Больше всего поначалу поражало Климашина, привыкшего к тому, что возле домов в российских деревнях бродят куры, озабоченно роющиеся в земле, а где-то на задах в покосившемся хлевушке замыкивают коровы или с алчным голодным урчанием хрюкают поросята, так это полное отсутствие каких-либо признаков сельского быта на улицах поселка.

Здесь у каждого дома красовались нарядные цветники, возле многих голубели крошечные декоративные

водоемы, по краям которых стояли забавные глиняные гномики. Нигде не было видно грядок с картошкой, луком или другой съедобной зеленью.

— А зачем нам это? — засмеялся Прохазка, когда Климашин сказал ему, что в России стараются свои участки использовать с максимальной отдачей. — Мы все имеем через кооператив.

И действительно, никому здесь не было нужды после работы еще вкалывать на домашней плантации, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Все продукты — мясо, овощи, молоко — члены кооператива получали у себя в хозяйстве по заранее обговоренным ценам, не томясь душой, как прокормить себя и свою семью. Если уж захотелось каких-то деликатесов, пожалуйста, иди в местный магазин. Выбор там немногим хуже, чем в столице.

Нет проблем и с тем, что веселит сердце. Но если в России изготовить домашнее вино можно, только опасно оглядываясь по сторонам, чтобы не налетели какие-нибудь опричники, то здесь проблему решили очень просто. Удался урожай слив, нагружай машину и вези их на ближайший винзавод. Тебе в обмен тут же выдадут уже готовую сливовицу — терпкую крепкую водку в больших бутылках, специально для этого выпускаемых.

И не мается человек в очередях, не скотенеет в отчаянной борьбе за выживание, не мечется в поисках хоть какого-нибудь забвения, чтобы на час, на минуту вырваться из этой проклятой суеты в мир одуряющих грез...

И снова — в который уже раз — задал себе Климашин вопрос: почему же его соотечественники прозябают в беспросветной нищете? Земли мало? Так здесь ее в тысячи раз меньше, самые большие поля уместятся на околице средней вологодской деревни. Погода не та? Но и на курских просторах летом не веют арктические выюги. Так что же мешает россиянину жить достойной жизнью, той, что живут люди у него по соседству?

И чем больше Климашин думал об этом, тем тоскливее становилось у него на душе, потому что он видел: здешний труженик на десять голов пока выше Ивана или Степана из московского или тверского края.

Выше по культуре, по миропониманию, по отношению к себе и своему труду. Он считает позором, если к

его дому ведет грязная, неухоженная дорога. Он на работу идет не в черном замызганном тряпье, а в светлом комбинезоне, не опасаясь его испачкать, потому что у него все чисто, обустроено, сделано так, чтобы человек не чувствовал себя подневольным работягой, который мечтает лишь о куске хлеба, а ощущал потребность отдать все силы делу, которое приносит радость, законное удовлетворение.

Когда же будет такое на его Родине? Сколько лет или веков должно пройти, сколько еще страданий придется на долю каждого жителя этой земли, чтобы перестала она быть злой мачехой?

Едва Климашин успел спуститься с вышки, как увидел черную «Волгу», показавшуюся из-за поворота. Машина остановилась на небольшой заасфальтированной площадке, примыкавшей к вышке, и из нее неторопливо, придерживая рукой высокую, сшитую на заказ фуражку, выбрался командующий генерал-полковник Кабаргин. С ним Климашину пришлось несколько раз встречаться в Афганистане. Генерал Кабаргин не стяжал там лавров удачливого военачальника, зато прославился на другом поприще. Он все свои силы тратил на то, чтобы искоренить пьянство в рядах подчиненных ему войск.

Для этой цели лично им был сформирован специальный отряд, который занимался только тем, что до тошно перетряхивал все грузы, прибывающие в армию. Обнаруженное спиртное в стеклянной упаковке торжественно уничтожалось в присутствии самого командующего. Сводки об успехах на фронте борьбы с пагубным пристрастием ложились к нему на стол наравне с донесениями о боевых действиях.

Увы, и те и другие сведения не принесли генералу Кабаргину героического отличия. Несмотря на все драконовские заслоны, ручейки спиртного просачивались так же бесперебойно, как и до введения этих самых отрядов. Но тем не менее генерал Кабаргин вскоре получил повышение, и теперь Климашин снова попадал к нему в подчинение.

Он, подтянувшись, четким шагом подошел к командующему и доложил ему по всей форме, зная, что генерал Кабаргин очень ценит умение офицеров разговаривать с ним кратко, энергично, без тех вялых, неопределенных слов, которые как бы разжижают речь, делают ее полной скрытых намеков и туманных ино-



сказаний. Этого командующий не терпел. Он всему остальному предпочитал ясность и точность, потому что полагал, все беды идут лишь оттого, что нет достоверной информации о положении дел, где любые, даже малейшие искажения или умышленные сокрытия истины, ведут к принятию ошибочных решений, за которые потом приходится дорого расплачиваться.

Сегодня у генерала Кабаргина было хорошее настроение. Он получил известие, что его сын, старший лейтенант Кабаргин, назначен командиром роты. И то, что это произошло без его участия, укрепляло командующего в уверенности, что его сын всего добился своим собственным трудом и усердием, не прибегая к отцовскому заступничеству.

Он действительно никому не звонил, никого не просил оказать содействие сыну и очень этим гордился, считая, что его совесть чиста, а репутация не запятнана никакими «блатными» хитростями. Он только не учитывал, что ему и не надо никуда звонить или кого-то упрашивать. Командиры Евгения Кабаргина и без того знали, кто у него отец, и не оставляли его без внимания, полагая, что их забота будет по достоинству оценена начальством, которое тоже знало, что его добрые деяния в конце концов дойдут до слуха Кабаргина-старшего и останутся у него в памяти, а это очень важно, потому что судьба может повернуться по-разному и никогда не помешает, чтобы нашелся человек, который вспомнит сделанное ему добро.

Но если Кабаргин-старший на словах громогласно выступал против протекционизма, то Кабаргин-младший считал, что так и должно быть, что через год после окончания училища, едва понюхав пороха на взводе, он уже становится командиром роты, откуда открывается дорога в академию, а там уже можно смело уповать на светлое, безоблачное будущее. И его несколько не волновало, что о нем подумают те, кто служит с ним рядом, но не имеет ни такого отца, ни вообще родственников, которые обладают властью и возможностью умело пользоваться своим положением. Но и остальные не видели в этом ничего зазорного, такого, чего следует стыдиться, потому что общий порядок вокруг был построен по такому же принципу, и каждый такой случай представлял собой не грубо выпадающее из строгого ровного ряда нарушение, а привычный изгиб линии, который уже не замечается гла-

зом, а если и обнаруживается, то опасно обходится стороной, так как поправлять его можно такой рукой, которая властна и способна изменить начертание.

А если этого нет, то любая попытка поднять протест ничего не даст, кроме горечи разочарования...

— Сколько смен уже отстрелялись? — спросил Кабаргин, с наслаждением вдыхая морозный, обжигающе чистый воздух.

— Три, товарищ командующий, — не меняя стойки «смирно», ответил Климашин.

— Как результаты?

— Два экипажа — отлично, два — хорошо, пять — удовлетворительно.

— Что так слабо?

— Мы же только прибыли, — вырвалось у Климашина, и он тут же пожалел об этом, увидев, как хмуро блеснули глаза командующего.

— Что, по дороге все растеряли? — круто повернулся он к Климашину. — Это не ответ командира полка, у которого люди должны быть готовы в любое время выполнить поставленную задачу.

Климашин слушал, стиснув зубы. Что он мог сказать? Что перед выводом люди мотались как угорелые, потому что поступила команда отправить эшелон на неделю раньше запланированного срока, так как наверху решили потрафить общественности, продемонстрировать ей свое разоруженческое рвение? Что из вывода сделали спектакль, ради которого все силы были брошены на марафет? Перед глазами Климашина снова мелькнула картина последнего дня.

Погрузка техники была закончена вечером, но до утра люди находились возле эшелона — еще раз что-то подкрашивали, наводили лоск: ожидался митинг, посвященный торжественным проводам. Но к рассвету неожиданно потеплело, и начал накрапывать мелкий нудный дождь. Местных жителей собралось немного — одних отпугнул дождь, другие рассудили, видно, что теперь демонстрация симпатий к русским может обернуться для них неприятностями. Времена изменились, и надо было приспособливаться к новым порядкам.

Среди провожавших были в основном пожилые люди. Они еще не забыли русских солдат, которые принесли им свободу весной сорок пятого года. В негустой молчаливой толпе, собравшейся у края платформы,

Климашин разглядел кряжистую фигуру Яна Прохазки. Тот заметил, что Климашин смотрит на него, и подошел к нему.

— Ну, Геннадий, до свидания, — вздохнув, сказал Прохазка.

— Да нет, Ян, наверное, свидания больше не получится, — невесело произнес Климашин.

— Ты обиделся? — Прохазка близко заглянул в глаза Климашину.

— Почему ты решил?

— Э, по лицу вижу. Но ты напрасно обижаешься. Ни я, ни ты не виноваты, что так все получилось. И если мы с тобой были друзьями, то так и останется это. Так?

— Так, Ян. Спасибо тебе за все. И пусть у тебя все будет хорошо и дальше.

— Я за себя не боюсь. — Прохазка упрямо нахмурил густые темные брови. — Я как работал на земле, так и буду на ней работать. Это пусть политики боятся, куда их жизнь повернется. А мы, простые люди, зла на русских людей не таим.

— Мы тоже, Ян. — Климашин положил руку на крепкое плечо Прохазки. — Обидно только, что кто-то считает нас оккупантами.

— Не думай об этом. Так говорят лишь хитрые люди. Они уже ищут выгоды у американцев.

— Будь здоров, Ян!

Они молча обнялись, и Прохазка отошел. Климашин посмотрел ему вслед, и у него защемило сердце.

Нечасто они встречались, но каждый раз, когда обстоятельства сводили их, Климашин чувствовал, как Прохазка словно весь так и тянется к нему. Это было видно и по его широкой радушной улыбке, и по грубоватому похлопыванию по плечу, и по веселой, немного шумной открытости, с которой он рассказывал о своих делах: то о том, как он поругался с женой, которая дала ему денег на покупку костюма, а он их истратил на приобретение понравившегося ему английского спиннинга, то о том, как они в кооперативе затеяли строить новый колбасный цех.

И во всем этом не было искусственно оживленной любезности, когда стараются сделать вид, что испытывают в общении приятную заинтересованность, хотя на самом деле в душе словно кто-то невидимый нетер-

пеливо отсчитывает секунды и минуты, потраченные напрасно.

Это был друг, с которым было легко и просто, и он сейчас уходил, чуть ссутулив широкие плечи, обтянутые промокшей от дождя курткой, и ничем нельзя было его остановить, потому что нужно было уходить и самому, не надеясь на то, что когда-нибудь судьба сменит гнев на милость и даст им возможность увидеться еще раз...

А потом была долгая дорога домой — долгая тем, что они ехали туда с мыслью, что их там просто обменяли на какую-то сомнительную выгоду, непонятную им, и потому ничего им не объясняющую, и тем более не способную внушить надежду на что-то лучшее...

А потом была морока с устройством на новом месте — устройством самым минимальным, когда надо было найти хоть крышу над головой...

Но это не интересовало командующего.

К вышке подъехал «уазик» и остановился рядом с машиной командующего. Из кабины выбрался среднего роста полковник с хмурым обветренным лицом и направился к генералу Кабаргину, не обращая никакого внимания на Климашина.

— Товарищ командующий, старший офицер отдела боевой подготовки полковник Крикунов.

— Ну-ка, Крикунов, посмотри, чем они тут занимаются, — махнул командующий в сторону танков, приготовившихся к выполнению упражнения.

— Есть! — полковник круто повернулся и зашагал к вышке.

— Укрытие для техники закончили? — ворчливо спросил генерал Кабаргин.

— Никак нет!

— А что такое?

— Материалов нет, товарищ командующий.

Кабаргин повернулся, провел насмешливым взглядом по Климашину сверху вниз и хмыкнул.

— Пора отвыкать от иждивенческих настроений, товарищ Климашин. Хороший командир всегда найдет нужные материалы и средства. Для этого надо только пошевелить мозгами. Ясно?

— Так точно, — глухо произнес Климашин.

Он уже понял, что стоит за словами командующего. Значит, нечего и надеяться на то, что ему дадут материалы, особенно дефицитный кирпич. Но в то же

время начальство с него шкуру спустит, если он не сумеет к сроку закончить укрытие для техники. Выход один — идти на поклон к местным властям, договариваться с ними, вымаливать эти проклятые материалы, что-то обещать за это, потому что времена бескорыстных благодетелей давно прошли и каждый хозяйственник деловито смотрит, что он будет иметь, если подкинет ему кирпич, цемент, доски — словом, то, чего не купишь за деньги, а можно только получить в обмен на равноценную услугу. Но что может дать им взамен командир полка? Только солдат — дешевую и безотказную рабочую силу. Вот что нужно от него хозяйственникам в первую очередь. Все остальное они и сами достанут без всякого труда. А почти бесплатные рабочие руки — это заманчиво. Ради этого можно и расщедриться — выделить кирпич, списав его как бракованный, найти доски, подкинуть пару машин асфальта.

Но и в этой простой операции командир рискует своей головой. Официально считается, что отвлекать солдат на работы — это преступление. Начальство со всех трибун мечет громы и молнии в адрес командиров полков, которые имели несчастье погореть на подобных сделках. На них обрушивается вся мыслимая и немыслимая кара. По распоряжению все того же всесильного ГлавПУРА военная пресса изо дня в день чуть ли не навзрыд скорбит о потерях учебного времени, которое, по мысли хорошо оплачиваемых радетелей за правду, пропадает по вине все тех же командиров, с легкостью посылающих солдат работать на стороне.

И никто не хочет задаться вопросом: как получилось, что армия занимается совсем другим делом — сама строит себе жилье, разводит свиней, чтобы прокормиться, обивает пороги ведомств и учреждений, чтобы хоть что-то вымолить сверх отпущенного скудного рациона? Как могут существовать в одном измерении гигантский азнаанесущий корабль, похожий на плавающий бронированный остров, и военный городок, где до сих пор люди мучаются в хлипких фанерных домиках, на скорую руку построенных сразу после войны в расчете, что эти временные строения в самом ближайшем будущем будут заменены надежным комфортабельным жильем, но так и оставшихся стоять, пропустив через себя несколько поколений воен-

ного люду, который так усердно оклеивал стены обоями, что домики в конце концов превратились в бумажные избушки, наподобие старинных японских одноэтажек с той лишь разницей, что им пришлось противостоять не теплым задумчивым туманом, а сорокаградусным морозам и шквалистым ветрам?

И с каждым годом таких вопросов все больше и больше, но гложут они в тиши просторных, уютных кабинетов и превращаются в едва различимое сетование, которое относится за счет недостатков политико-воспитательной работы, для устранения которых издаются все новые директивы и постановления, где звучит чиновничья вера в то, что людей можно одними словами заставить быть счастливыми и довольными, как будто от указания или распоряжения сами собой вырастут удобные, красивые дома, зашумят возле них аллеи белоствольных березок, и разнесется между ними радостный детский смех.

И огромная разношерстная армия превращается в безалаберную строительную шашку, где каждый суетится как может, оставленный один на один со своими проблемами и бедами...

— Ну, если понял, — раздраженно переступил с ноги на ногу генерал Кабаргин, — тогда чтобы я от тебя жалоб не слышал. Жаловаться мы все мастера. Дело надо делать, вот тебе и вся перестройка, как говорят сегодня.

От хорошего настроения у командующего не осталось и следа. Оно словно истаяло на этом ледяном, пронизывающем ветру, как скрадывается, уходит вглубь огонек костра, на который накинута прихотливо закрученный снежный вихрь. Но Кабаргин знал, что ветер здесь ни при чем. Разговаривая с Климашиным и упрекая его за медлительность работ по строительству укрытия, командующий вспомнил, как несколько часов назад ему позвонил один из заместителей министра обороны и тоже выразил недовольство тем, что Кабаргин затянул ремонт теплосети в гарнизоне, как будто именно командующий не проверил вовремя трубы и позволил стуже самой провести нелегитимную ревизию, в результате которой больше десятка домов лишились отопления.

Оцепеневший, беспомощно распростертый организм пытались оживить пинками и понуканиями, стараясь

не замечать, что он больше всего нуждается в сильнодействующем лекарстве и хорошем уходе...

Неподалеку, за разбитой машинами дорогой, колен которой напоминали две параллельно тянущиеся траншеи, низким охрипшим рычанием выплеснулся на землю рокот танковых двигателей, и у Климашина тоскливо замерло сердце.

Все произошло по пресловутому закону подлости — бутерброд падает маслом вниз, поезд уходит прямо перед носом, кирпич падает с пятого этажа точно на голову, а командующий приехал именно в тот момент, когда стрелять должен лейтенант Торчак.

Ко всему прочему он просто панически боялся танка. Подобно тому, как человек входит в темное незнакомое помещение, с опаской ожидая какого-нибудь неприятного для себя подвоха, так и Торчак забирался в танк каждый раз с видом, будто его там должны четвертовать. Для его рыхлого изнеженного тела теснота отсеков представляла набором всяческих угловатых выступов, жестких рычагов и острых кромок, которые словно задались целью причинять ему боль от ушибов и толчков.

Если Пульков и Стахович проскальзывали в люк так легко и непринужденно, как будто озорно ныряли в давно освоенный сонный деревенский пруд, то Торчак, мученически елозя сапогами по броне, карабкался к своему командирскому месту с отчаянием первопроходца, проклинаящего вставшую на его пути неведомую гору. Но и оказавшись в тесной стальной коробке, где пахло металлом, горелой краской и старыми солдатскими бушлатами, он не испытывал никакого облегчения. Наоборот, для него начиналось самое трудное — бронированная машина бесечно срывалась с места и ее начинало суматошно бросать на буграх и ямах трассы. Если она шла по склону, то голову Торчака неотступно сверлила мысль, что танк вот-вот заскользит вниз и обязательно перевернется. Если же начинался подъем, то он с ужасом представлял себе, что тяжелая машина сейчас опрокинется и, гремя металлом, рухнет на камни.

Ему быть бы где-нибудь послушным клерком, заботливо перебирающим бумаги перед очередным докладом шефу, а его насильно затащили туда, где кровоточат пальцы, сбитые о металл, где нужно, задыхаясь, подтаскивать ящики с боеприпасами или тянуть

задубевший на морозе брезент чехла, вдруг ставший совершенно неподъемным, как будто его весь облили толстым слоем свинца.

Еще в школе он мечтал стать библиотекарем, целыми днями пропадать среди книг, которые не толкаются и не дерутся, как его сверстники, обзывавшие его жир-трестом за полноту, но на семейном совете было принято решение, чтобы он продолжил дело своего деда, известного танкового военачальника минувшей войны.

К тому времени он уже умер, прослыв в последние свои годы чудачком из-за того, что непременно хотел питаться только в солдатской столовой. Было много переговоров с различным начальством, которое снисходительно пожав плечами, уважило заветное желание престарелого маршала. Ему разрешили обедать в части, которая находилась неподалеку от дачи, где он теперь обитал безвылазно. Поначалу в полку все недоуменно вздрагивали, увидев гостя в полном маршальском одеянии, спешащего в солдатскую столовую, но потом привыкли и уже не обращали на него внимания, даже на то, что от него оглушающе разило чесноком, который он употреблял в невероятных количествах, твердо веря в то, что он продлевает жизнь.

Старый маршал был счастлив, вместе с солдатами усаживаясь за обеденный стол и ощущая себя в эти минуты Суворовым, присевшим у походного костра к своим любимым гренадерам. Он очень жалел, что у него лишь одна дочь, которая не примет его славу мастера танковых атак. Когда же на свет появился внук, он все помыслы сосредоточил на том, чтобы все-таки осуществить свою мечту.

Его не стало, когда Павел заканчивал школу, но остались живы его старые фронтовые друзья, многие из которых теперь ходили в больших чинах. Они-то без труда определили парня в военное училище и бдительно следили, чтобы там к нему относились со всей возможной снисходительностью. Училищное начальство не раз порывалось исключить курсанта Торчака за его полную непригодность к военному делу, но влиятельные опекуны решительно пресекали все эти попытки. В конце концов в училище поняли, что себе дороже возмущаться поведением маршальского внука, который не утруждал себя усердием в учебе, и кое-как дотащили его до выпуска.

Вот такой дипломированный танкист сидел сейчас



в танке, который приближался к мишеням. С гулким звоном рывкнула танковая пушка.

— Молодец! — вскрикнул командующий, не отрывая от глаз бинокль. — Кто стреляет? Вот это мастер — первым снарядом цель раздолбал.

— Лейтенант Торчак, товарищ командующий, — у Климашина все смешалось в голове. Неужели Торчак вдруг превозмог себя и, собрав все силы, решил проявить себя с самой лучшей стороны? Вот это номер! Действительно, молодец! Климашин готов был сейчас простить лейтенанту все его грехи только за то, что он не опозорил его перед высоким начальством.

В неподвижном морозном воздухе тяжелой сыпучей дробью раскатилась пулеметная очередь, и снова командующий одобрительно уронил:

— Хорошо стреляет! А ты, Климашин, плакался, что трудности тебе мешают. Видишь же, что настоящим мастерам никакие трудности не мешают. Кстати, как ты сказал? Лейтенант Торчак?

Командующий на минуту примолк, что-то, видно, вспоминая, потом довольно произнес:

— Вот и хорошо! Направь-ка ты этого лейтенанта на курсы подготовки командиров рот. Надо выдвигать способную молодежь, — нравоучительно заметил он, точно Климашин только что утверждал обратное.

— Товарищ командующий, — попытался Климашин все объяснить генералу Кабаргину, но тот, вернув бинокль, направился к машине, на ходу обронив:

— Не зажимай кадры, лучше плотней займись строительством.

Взглянув, как слоистой сизоватой дымкой окутался багажник отъехавшей машины, Климашин невесело подумал, что неверна присказка, которая утверждает, что нет ничего слаще запаха выхлопных газов машины уезжающего начальства. Никакой радости он сейчас не испытывал. В сердце горячим тяжелым комом ворочалась обида. Его отчитали, как мальчишку, в сущности, за то, чем он не должен заниматься. Ладно, дали бы материалы, тогда бы он как-нибудь выкрутился, хотя тоже проблема — при всем желании из солдат за день не сделаешь хороших каменщиков. Но с горем пополам справились бы. А как быть, если не дают никаких материалов? Рожать их самому, что ли? Или собственный кирпичный завод строить? Легко приказать — сделайте! А как, чем, какими силами? Он

ведь не волшебник, чтобы одним мановением руки извлечь из воздуха все необходимое. Но никто же и слушать не хочет, хотя все прекрасно понимают, что это незаконно, что это, наконец, безнравственно, потому что ставит командира в заведомо ложное положение, когда он должен идти против совести и убеждений.

А тут еще неожиданный вывод командующего из того, что он узнал о лейтенанте Торчаке. Вернее, генерал Кабаргин, став свидетелем успеха молодого офицера, пришел к закономерному заключению отметить его усердие. Но в голове Климашина никак не могло уложиться, что кандидатом на должность командира роты должен стать именно Торчак.

Климашин уже принял решение послать на курсы старшего лейтенанта Стаховича. Сколько можно ему сидеть на взводе? Конечно, водятся за ним грешки — «не любит» выпить да и на язык несдержан: может такое сказать, что начальство аж зеленеет. Но — боевой офицер, прошел Афган, дело знает и любит его. Что еще надо? А что не ангел — так где сейчас такого возьмешь, чтобы был с непорочными крылышками за спиной? В танкисты идет народ земной, кто не боится в смазке испачкаться да кувалдой на морозе помахать, меняя траки.

Командир полка уже не в первый раз пытался выдвинуть Стаховича на роту, но все его усилия разбивались об одну строчку в аттестации старшего лейтенанта. Всего одна строчка, а весила она столько, что ее не могли перебороть никакие ходатайства Климашина. Каждый раз, когда он представлял документы на повышение Стаховича, кадровики многозначительно зачитывали ему эту роковую фразу и со вздохом откладывали бумаги в сторону, давая понять, что двигать их дальше не только пустой номер, но еще можно и себе на этом деле нажить неприятности, потому что в глазах начальства такое попустительство граничит с профессиональными упущениями, которые влекут за собой вполне определенные выводы.

А строчка эта сообщала мимоходом, скороговоркой, что старший лейтенант Стахович имел случаи употребления спиртных напитков.

Случаи — это было громко сказано. После Афгана Стахович приехал в полк раньше Климашина. Мирная жизнь, в которой не было выстрелов и крови, уютная, красивая страна, которая после российской

нищеты казалась райским уголком, почти неправдоподобное изобилие спиртного — все это как бы оглушило Стаховича, ввергло его в состояние какой-то бездумной праздничности, когда все вокруг кажется необыкновенно прекрасным и безумно хочется продлить это ощущение внезапно нагрянувшей весны. На кроны, полученные по приезду, он купил самых красивых бутылок, не особенно вникая, что в них содержится, и устроил себе «праздник души». А закончился он тем, что ему спешно вынесли приговор, который тут же занесли и в личное дело.

Тогда Стахович радовался, что так еще легко отделался. Других в таких случаях подвергали жесточайшей экзекуции. У него не отобрали партийный билет, как обычно делали в таких случаях, но приговорили к не менее изощренному наказанию. Многозначительная строчка в его личном деле на долгие годы вперед перечеркнула все его планы и надежды.

И вот теперь — новый удар...

В сердцах Климашин сбил шапку на затылок, словно она давила голову, но тут же ее поправил и принял деловой вид, потому что к нему подходил полковник Крикунов, который оценивающе посмотрел на командира полка и сухо произнес:

— Товарищ подполковник, у вас люди занимаются очковтирательством.

Климашин от растерянности на мгновение потерял дар речи. Он мог ожидать чего угодно, но, чтобы его подчиненные кого-то обманывали, напроць им исключалось. В полку все знали, что командир пуще всего на свете не терпит всякие хитрые уловки.

— Это ошибка!

— Да? — скептически усмехнулся полковник Крикунов. — Советую вам не обольщаться. Только что мною было установлено, что вместо лейтенанта Торчача стрелял старший лейтенант Стахович.

...С утра лейтенант Торчач с затаенной надеждой, похожей на веру в чудо, ждал, что случится что-то такое, что заставит командира полка отменить стрельбы — пойдет невиданно густой снегопад, разразится гроза, или вдруг выйдет из строя все мишенное оборудование полигона. Он даже осторожно прошептал что-то невнятное, напоминающее, как ему казалось, молитву, обращенную к Богу с одной-единственной просьбой: сделать что-нибудь для него, избавить от

мучений, которые ему предстоит пройти, если не вмешается провидение.

Но, видно, в небесной канцелярии эта молитва тоже попала в руки каких-то бюрократов, которые не торопились дать ей ход, потому что погода стояла превосходная, не ожидалось никаких стихийных бедствий, и на полигоне тоже все было в порядке. Торчак совсем пал духом и только иногда с безнадежной тоской смотрел на часы, машинально отмечая, сколько времени ему осталось до окончательного конфуза.

Он не сомневался, что провалится с оглушающим треском и тогда от праведного гнева командира полка его ничто не спасет. А вчера он получил письмо от отца, который сообщал, что все те же высокие покровители хлопочут о том, чтобы его перевести в Москву и устроить референтом к известному Сапожникову в Верховный Совет. Отец просил только об одном — постараться не обострять отношений с полковым начальством, которое хотя и невелика птица, но может поднять шум, который не нужен.

Отец Павла, всю жизнь проработавший в каком-то хитром ведомстве по связям с границей, хорошо знал значение безупречных анкет и потому все время внушал сыну, чтобы он избегал всяких осложнений, могущих остаться невыгодной строчкой в биографии.

И вот теперь осталось пережить всего несколько дней, и он навсегда расстанется с этой службой, которая казалась ему тяжелой несправедливостью, принесшей одни только страдания. Но в глубине души он понимал, что все эти трудности не так уж непреодолимы, с ними вполне справляются его сверстники, и то, что он воспринимает все как непосильную повинность, есть лишь результат его собственной слабости.

Он рос единственным ребенком в семье, окруженным многочисленными родственниками, которые тряслись над Павлушей как над редким хрупким растением, которое может погибнуть даже от малейшего дуновения свежего крепкого ветра. Его водили гулять, укутав так, что он мог только с трудом передвигать ноги. Его пичкали витаминами, от которых он только толстел. Его провожали в школу и встречали из нее, чтобы он меньше подвергался дурному влиянию. В конце концов он привык считать, что его персона представляет особую ценность и предназначение его

не в том, чтобы всю жизнь дышать гарью дизельного топлива.

Только бы пережить этот день...

— Что такой кислый? — стрельнул в него озорными глазами Стахович, когда они шли к вышке получать задачу от командира полка. Торчаку его сослуживец казался заурядным Ванькой-взводным, который, кроме службы, ничего не знает и ничем не интересуется, но сейчас он вдруг посмотрел на него с особым вниманием. Неожиданная мысль блеснула в голове Торчака.

— Да что-то плохо себя чувствую, видно, простыл, — осторожно произнес он, искоса наблюдая за реакцией Стаховича, но тот лишь добродушно засмеялся.

— Не бери в голову! Хочешь, рецепт порекомендую? Как рукой простуду снимет!

— Какой еще рецепт? — заскучал Торчак, чувствуя, что разговор клонится в ненужную ему сторону.

— Сходи попарься от души, и все пройдет.

— Тебе вот весело, а мне не до смеха. Боюсь, стрельбу завалю.

— Неприятно, конечно, но не смертельно.

— Да я не о себе думаю! Климашина подводить не хочется, — рассчитанно вздохнул Торчак. Он знал, что Стахович больше всех почитает Климашина.

— А что же делать? — забеспокоился Стахович.

— Есть вариант, — как бы в раздумье протянул Торчак.

— Да не тяни ты резину! Время же уходит!

Торчак еще раз внимательно взглянул на Стаховича и решил:

— Вот если бы ты отстрелялся за меня...

Стахович, крикнув, энергично почесал затылок. Кому-то другому он посоветовал бы не валять дурака, но правда Торчака была в том, что он действительно мог подвести Климашина. Стахович был уверен, что Торчак стрельбу завалит, но если бы дело касалось лишь его одного...

А ради Климашина Стахович был готов пойти и на не такие жертвы.

— Давай. Только надо, чтобы все было чисто.

— Не беспокойся, — радостно засуетился Торчак. — Все провернем в лучшем виде...

Пульков уже до мельчайших деталей изучил потолок госпитальной палаты. В левом углу побелка чуть потемнела, и очертания пятна напоминали контур Черного моря, когда его изображают на карте. От него тянулась тонкая извилистая линия, которую при желании можно было принять за Волгу, текущую среди белых ровных равнин.

Он закрыл глаза и снова увидел желтый горячий песок, светлую полоску воды у самого берега, солнце, лениво застывшее в пустом, выцветшем от зноя небе. Тело словно растворялось в обжигающей неподвижности воздуха, становясь чем-то невесомым, как бы существующим уже независимо от него. И мысли тоже неуловимо таяли, превращаясь в какие-то зыбкие летучие видения, наплывающие издалека и с легким томительным звоном проходящие сквозь него, как проходит сквозь летнюю подрагивающую листву натянутый до пронзительно звенящего звучания солнечный луч, оставляя на каждой ветке теплые светлые пятна...

— Папа, смотри, я стрекозу поймал! — с ликующим криком подбегает к нему Мишка. В его тонких пальцах сердито ворочается радужно нарядная стрекоза. Она яростно извивается, с треском хлопает узкими жесткими крыльями и... оказывается на воле.

— Папа, она улетела! — плачет Мишка.

Пулькову лень открыть глаза, его не отпускает сладкая расслабляющая истома, и он только успокаивающе бормочет:

— Не переживай. Подумаешь, улетела! Да этих стрекоз мы еще целый миллион поймаем!

— А миллион — это много? — заинтересованно, спрашивает Мишка. — Больше, чем десять?

— Больше, конечно, больше.

— Тогда хорошо.

Для Мишки мир снова полон радости. Раз папа сказал, что они поймают еще целый миллион этих самых толстых глупых стрекоз, которые так смешно машут крыльями, то, значит, так и будет...

И он весело убегает на поляну, сплошь покрытую крупными яркими цветами, наклоняется к ним, и вдруг пропадает из глаз.

— Мишка! — в ужасе кричит Пульков, и этот крик вырывает его из забытья.

Сердце размашисто раскачивается в груди, как будто там ему невыносимо тесно и оно изо всех сил старается высвободиться из клетки. С каждой секундой взмахи становятся все больше, все дальше уходит гулкий тяжелый маятник, и вот его толчки уже у самого горла, и воздух не проходит сквозь стиснутую узость, и душная неумолимая темнота падает сверху, словно она с нетерпением ждала минуты, когда можно будет накинуться на кого-то, кто выпускает из своих рук жизнь...

И берег, еще недавно такой надежный и теплый, со страшной быстротой уходит вниз, и черная холодная вода безжалостно поглощает его, забирает себе и желтый обжигающий песок, и легкую узорчатую тень от ивняка, растущего над глинистым обрывом, и крупные, огненно сияющие цветы на маленькой лесной поляне, на которой пропадают все следы...

— Живой?

Голос доносится с соседней кровати. Пульков с трудом открывает глаза, неуверенным плывущим взглядом обводит палату. Все на месте — и пятно на потолке, и окно, за которым сочится серый зимний рассвет, и сосед, седоголовый костистый старик, не потерявший былой выправки. Когда Пулькова поместили в эту палату, он первым представился:

— Шаронов Александр Васильевич, полковник в самой глубокой отставке.

Теперь он внимательно смотрит на Пулькова, облокотившись рукой на подушку.

— Что со мной было? — Пульков облизал сухие потрескавшиеся губы.

— Ты, Дим Димыч, кончай эти штучки, — нарочито бодро заговорил Шаронов. — Молодой еще, чтоб на тот свет отправляться.

— Что-то серьезное было?

— Меньше думай об этом, больше доверяй медицине. А, вот и она к нам пожаловала! — поприветствовал Шаронов появившегося в дверях их лечащего врача подполковника медицинской службы Георгадзе. — Добрый день, Мелитон Григорьевич!

— Добрый день.

Георгадзе словно бережно внес в палату свое крупное, массивное тело, туго спеленутое белым накрахмаленным халатом, и подошел к кровати Пулькова.

— Как самочувствие, молодой человек? Мне дежур-

ный врач доложил, что у вас был приступ. Как сейчас себя чувствуете?

— Вроде нормально, — попытался улыбнуться Пульков.

— Это хорошо. Давайте-ка посмотрим ваш пульс.

Он привычно стиснул пальцами с густо покрывающими их черными короткими волосками запястье Пулькова и скосил широкие темные глаза на циферблат часов.

— Ну что ж, неплохо.

Он вытащил из кармана халата стетоскоп и точно припечатал маленький холодный диск к груди Пулькова.

— Бьется?

— Что?

— Сердце, говорю, бьется? — спросил Пульков.

Георгадзе усмехнулся и выпрямился, ловко складывая стетоскоп.

— Если человек шутит, значит, у него не так уж плохи дела.

Он подошел к кровати Шаронова, присел на ее краешек.

— А как ваше самочувствие, Александр Васильевич?

— Скриплю помаленьку, Мелитон Григорьевич, — приподнялся на подушке Шаронов. — Что нам, старикам, еще остается?

— Долго жить. Вот у меня отцу уже восемьдесят четыре года, а он на свадьбах пляшет не хуже молодого.

— Так это у вас, в Грузии. Там и воздух другой, и свежие овощи круглый год. А у нас, в России, на одной картошке долго не протянешь, да и ту еще надо достать.

— Ничего, все наладится.

— Э, Мелитон Григорьевич! Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Я этих обещаний за свою жизнь наслушался столько, что, если бы они все исполнились, я должен бы жить в раю. А тут не то что рая, нормальной жизни не видно. Хорошо, что скоро помирать, не придется дожить до той поры, когда совсем плохо станет.

— Ну зачем же так мрачно?

— Дак ведь радостно не получается! Вот я вчера прочитал в одной газетке про нас, фронтовиков: мол, зачем мы так сопротивлялись немцам? Они же на нас



обиделись и потому стали жестокими. Выходит, мы же еще и виноваты, что фашисты с нами так обращались?

— Не обращайтесь внимания, Александр Васильевич, на разную брехню.

— Нет, собака зря брехать не будет. Тут все с расчетом делается. Из нас, фронтовиков, уже сделали дураков, которые, кроме Сталина, ничего не видели и не знали. Да, я когда в атаку поднимался, кричал «За Сталина!». Но я сначала кричал «За Родину!». Это меня поднимало. А что я потом орал, это уже дело десятое. Я там и матом крыл, и Бога поминал, да мало ли чего вспомнишь, когда тебя пулями поливают почему зря. Но я сначала Родину вспоминал, в какой беде она оказалась, и до немца этого хотел побыстрее добраться, чтобы в глотку ему вцепиться. А теперь из нас хотят сделать чуть ли не преступников, которые виноваты в том, что было пролито столько крови!

— Да вы успокойтесь, Александр Васильевич!

— Как тут успокоишься, когда такое про нас пишут? Вот один тут умный шибко, профессор даже, так он жалеет, что немцам не удалось нас взять. Мол, тогда бы мы жили богато, как в Германии сейчас. Только профессор этот забыл, что ежели бы немец к нам пришел, то его родителей первыми бы в живых не оставил, потому как фамилия у этого профессора Вайнштейн.

— Александр Васильевич, вам вредно волноваться!

Георгадзе решительно поднялся и пошел к двери. На пороге он приостановился.

— Я сегодня дежурю, так что зайду вечером.

Шаронов устало откинулся на подушку, перебирая исхудалыми старческими пальцами одеяло. В палате стало так тихо, что расслышалось, как где-то за стеной звучит по радио высокий женский голос, поющий какую-то песню. Она уже заканчивалась, и голос звучал с тихой безнадежной грустью, но последние слова Пульков расслышал так ясно и отчетливо, как будто певица была рядом и специально для него еще раз повторила медленно и нежно: «И ждать, и верить я устала...»

«Как там Галя?» — с тоской подумал Пульков о жене. У него снова чем-то горячим плеснуло на сердце. Он закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Все нормально, Галя не оставят одну, Анна Михайловна Саркисян сказала, чтобы он не переживал.

Они росли в одном детском доме, и он помнил ее маленькой худенькой девочкой с двумя жиденькими косичками, которые как-то неприкаянно болтались у нее на узкой прямой спине. Может, из-за этой неприкаянности он постоянно дергал ее за волосы, пока однажды она не обернулась, и он увидел в ее светлых испуганных глазах слезы. Они часто-часто капали ей на лицо, стекая по бледным щекам мелкими быстрыми каплями.

— Ты чего? — оторопело спросил он, но Галя молчала, и только слезы все катились и катились у нее по лицу.

У Димки что-то перевернулось в сердце. Он не был неженкой, жестокая детдомовская жизнь не прощала слабостей, и приходилось чаще действовать кулаками, чем словами. Драки были обычным делом, и никто не воспринимал их как трагедию. Как-то он насмерть подрался с Васькой Фалиным, но уже через день они ходили вместе, обсуждая, как лучше удрать в поселок, где шел «Фантомас».

Но эти девчоночьи слезы словно обожгли огрубевшую Димкину душу. Он почувствовал, как в нем будто просыпается другой человек, готовый защитить слабого, удивиться, как нежно светится на солнце прядь тонких рыжеватых волос, и ощутить желание сделать что-нибудь такое, чтобы светлые глаза просохли от слез и взглянули на него с радостной лучистой благодарностью.

Он смутился и растерянно завертел головой.

— Ты чего? Я же понарошку! Не понимаешь, что ли?

До десятого класса они просидели вместе на одной парте. Когда Дмитрий поступил в военное училище, Галя перебралась в тот же город и устроилась здесь на работу, чтобы быть ближе к нему.

— Вам вредно волноваться!

Шаронов так похоже передразнил голос врача, что Пульков улыбнулся. Старик, похоже, жаждал продолжить разговор, который начался у него с доктором.

— Может, он прав, Александр Васильевич? — примирительно сказал Дмитрий.

— Конечно, прав! — загорячился Шаронов. — Мне уже все вредно. Только одно можно — говорить все, что думаю. Знаешь, раньше что-нибудь да сдерживало — скажешь не то, по партийной линии потянут, характеристику испортят, к должности не представят, звание задержат. Так и жил как на минном поле: шаг не в ту сторону шагнешь — поминай, как звали. Я вот раз

на фронте сказал одному начальнику все, что о нем думаю, так потом долго отскребывался.

— А что случилось? — с любопытством повернул к нему голову Пульников.

— Вот послушай, — Шаронов поудобнее подбил под себя подушку, чтобы потом не отвлекаться на бытовые мелочи, которые могут помешать повествованию. — Мы уже к Германии подходили, когда ко мне в батальон — я тогда уже комбатом был — пожаловал один проверяющий из тех, что всегда при большом начальстве отираются. А мне в аккурат поставили задачу взять там одну деревушку. Я сижу это, кумекаю, как мне лучше приказ-то выполнить. И по всему выходит, что сподручнее всего дожждаться ночи, а дело уже вечером было, обойти по лесочку и к утру деревушку эту взять без потерь. Уж очень не хотелось людей без нужды терять! Ведь каждый понимал, война-то к концу идет. Я как положено доложил проверяющему — помню, подполковник был, а я капитаном ходил, — как собираюсь действовать, а он мне приказ: атаковать немедленно! Как атаковать? Да там же пулеметы! Враз от батальона один пшик останется. А мне опять: вперед! Да еще трусом обозвали. Хороша храбрость — людей на пулеметы гнать. Ему, проверяющему, ведь что надо было? Чтоб потом доложить, что он принимал самое активное участие в проведении атаки. Шалишь, милоч, думаю. Для того ли я от самой Волги батальон вел, чтобы здесь его положить? В общем, моргнул я своим ребятам, а там орлы были, они этого проверяющего вежливо так в санитарном блиндаже и заперли до утра.

— Ну, Александр Васильевич, вы и даете! Как же вы после этого уцелели?

— Да как? Комдив был мужик толковый, мы с ним вместе войну начинали, отстоял меня, даже на Героя представил, но тут осечка вышла. Проверяющий-то тот начальнику политотдела рассказал, как я его дураком назвал да в блиндаже запер, ну, представление и зарубили.

— Подождите, Александр Васильевич, вы сказали, что с комдивом вашим вместе войну начинали? Как же он вас обскакал?

— Да как! Я в начальники никогда не лез, потому что понимал, у каждого человека есть потолок, докуда он может расти. А ежели выше потянешься, можешь беды наделать и себе, и людям. Ведь что зачастую по-

лучается? К примеру, я знал тогда, на батальоне мне быть в самый раз, больше не потяну, потому как там уже другой расклад соображения нужен. А ведь были и такие, что ему взводом много командовать, а он полк берет под свою руку. Ну и начинается карусель — то здесь промашка, то там несуразица. А все это ведь кровью оплачивается. Вот я и отказывался долго от всяких повышений.

— А как же комдив ваш?

— Ну, это особая статья, мужик с головой был, каких поискать. Он потом и армией командовал.

В палату шумно вошла медсестра Валя, высокая пышнотелая девица, при взгляде на которую многие больные только завистливо вздыхали. В руках у нее было какое-то трубчатое сооружение с треногой внизу.

— Здравсьте, мальчики!

Валя всех больных называла мальчиками, хотя некоторые из них давным-давно перешагнули этот юношеский возраст.

— Александр Васильевич, вам пора на процедуры, а вам, Пульков, сейчас поставим капельницу.

— Как жизнь, Валя? — улыбнулся ее командирскому тону Шаронов и стал надевать халат.

— Лучше всех! — бодро заявила Валя и подтащила сооружение к кровати Пулькова. Он подтянул рукав рубашки и подставил руку под иглу. Валя, озабоченно наморщив лоб, протерла кожу ваткой со спиртом, и почти в ту же секунду Пульков ощутил укол. Он вопреки его опасению оказался безболезненным — Валя недаром на все отделение славилась умением мастерски делать уколы. Она отпустила зажим, и Пульков увидел, как из бутылки, закрепленной на штативе, мерно закапала в трубку светлая прозрачная жидкость.

— Ну вот, теперь лежите спокойно, а я скоро вернусь.

Валя, так же шумно шурша халатом, торопливыми шагами вышла из палаты, и Пульков остался в ней один. Он чуть сдвинул руку, чтобы удобнее было лежать, и закрыл глаза, стараясь думать о чем-нибудь хорошем, но после разговора с Шароновым в голову лезли лишь беспокойные обрывочные мысли. Он как-то не задумывался раньше, кто был на этой земле до него. Жизнь шла так, что больше нужно было думать о сегодняшних делах, о том, что ждало сейчас, сию минуту, и ничего нельзя было отложить на потом, потому что

там уже начинались другие заботы, и они торопили, потому что и за ними стояли такие же новые заботы, и так без конца или, во всяком случае, без какого-то видимого предела, о котором просто нет смысла думать, потому что он далеко, а может, его нет вообще, и все будет идти бесконечно, только повторяя все новые и новые витки...

И вот оказалось, что не так уж все беспредельно, и граница или черта, за которой ничего нет, действительно может в любой миг оказаться так близко, что явно потянет холодком последнего расставания, и земля, которая до этого охотно давала твердую надежную опору, вдруг зыбко качнется, волчком пустив кружиться деревья, облака, калитку у дома, где по вечерам теплым задумчивым светом загораются окна, тропинку в осенний молчаливый сад и чьи-то горячие легкие руки...

И жизнь, которая только что казалась до отказа наполненной, вдруг предстает чередой пустых дней, в которых ничего не было, кроме холодной воды по утрам, тюбика зубной пасты, из которого медленно ползет белая тягучая колбаска, бледно окрашенного чая в стакане, где дребезжит старая алюминиевая ложка, и циферблата часов, напоминающих о необходимости куда-то идти и что-то делать.

А может, это вовсе и не жизнь, а нечто такое, что просто изображает жизнь, как изображают ее в кино, где двигаются люди, набегает на береговой песок морская волна, клонится под ветром ромашковый луг, но все это существует лишь потому, что кто-то этого захотел, и, как только пропадет у него это желание, все исчезнет, не оставив ни звуков прибоя, ни запаха нагретых солнцем цветов, ни самой маленькой капли дождя, стремительно прошумевшего по сомлевшей от жары березовой листве...

Но кто же тогда он — со своими руками, в которых так приятно ощущать молодую нетерпеливую силу, с желанием торопить кружащую голову горячую близость женского тела, с болью от мысли, что он никогда не почувствует, как доверчиво пахнут легкие и пушистые волосы на детской головке?

И кто они, те, что были до него? Просто тени, мелькнувшие на миг в луче света, или начало, без которого бы не было его?..

Рубашвили лениво подцепил на самый кончик лопаты горстку земли и швырнул ее на край траншеи. Он с досадой подумал о том, что не сумел отвертеться от этой работы. «Эх, надо было сказать, что заболел и плохо себя чувствую», — запоздало укорил он себя, но тут же вспомнил, что он уже не раз использовал этот прием, чтобы увильнуть от очередного задания.

Он посмотрел, как шустро орудует лопатой его напарник, и зло сплюнул.

— Эй, Гриб, ты что, оборзел?

— А что такое?

Андрей Грибков, которого в роте звали Грибом не только по сокращенной фамилии, но и потому, что он и сам напоминал этакий гриб боровичок своей невысокой крепкой фигурой и круглой коротко стриженной головой, с силой вогнал лопату в землю.

— А то, что пашешь как проклятый!

— Так ведь сказали закончить к обеду.

— «Сказали»! — передразнил его Рубашвили. — Тебе скажут тоннель прорыть до Америки, ты тоже будешь горбатиться?

— Ну, ты придумашь! — засмеялся Грибков. — Рази тоннель одной лопатой выроешь?

— Эх, село! — Рубашвили пренебрежительно махнул рукой. Он внимательно осмотрел лопату в тайной надежде, что обнаружит полочку и тогда можно будет на законном основании спокойно сесть и закурить. Но к его великому огорчению, на лопате не обнаружилось никаких изъянов, и Рубашвили, уныло вздохнув, снова принялся обреченно ковырять землю.

— Ну, орлы, как дела?

Старший прапорщик Тарасов заглянул в траншею, на глазок определяя, насколько успешно продвигается работа.

— Слабовато что-то идут у вас дела, орелики.

— Земля тут, будто камень, — страдальчески протянул Рубашвили.

— Ну-ка, посмотрим.

Тарасов грузно спрыгнул в траншею, взял у Рубашвили лопату и подсек изрядный глинистый ком, влажно отсвечивающий косо срезанным боком.

— И-эх!

Толстая рыжая лепешка сочно шлепнулась на бру-

твер. За ней резво полетели другие, и через минуту на краю траншеи вырос еще один остроконечный холмик, а узкая осыпающаяся щель продвинулась еще дальше.

— Работать можно, если не сачковать.

Упершись руками в края траншеи, Тарасов сильным толчком вымахнул наверх и потоптался на месте, стряхивая с сапог налипшую на них землю.

— Подумаешь, Макаренко нашелся! — проворчал Рубашвили, когда старший прапорщик ушел. — Он, видите ли, считает, что работать можно. А я так не считаю!

— Так ведь сказали, что надо сделать, — пожал плечами Грибков.

— Мало ли чего тебе скажут!

— Так ведь это тебе армия!

— Ох, Гриб, не трави душу!

Рубашвили горестно помотал головой, словно он и сейчас не мог свыкнуться с мыслью, что с ним произошло.

— Я же в армию по дурости попал. Отцу предлагали за хорошие бабки сделать мне белый билет, и сидел бы я в родном гнездышке, попивал коньячок и слушал балдежную музыку. Так мне же стукнуло в голову отказать! И меня, конечно, моментально загребли как миленького, напялили на меня этот костюм под названием солдатская форма и дали в руки эту изящную лопату!

Он дурашливо потряс ею и продолжал изливать душу Грибкову, хотя в душе считал его недалеким ограниченным парнем, из тех, кто безропотно тянет свой воз и не догадывается, как много в жизни есть радостей, для которых только нужны эти нежно хрустящие бумажки, и чем больше их, тем лучше. А Рубашвили уже успел почувствовать, как сладко ощущать в руке покорную тяжесть тугой пачки новеньких, глянцевито поблескивающих купюр. Правда, ему это удовольствие выпадало нечасто, в деле он был всего лишь «шестеркой», мальчигом на подхвате, но он верил, что это только начало и впереди у него свое дело, где он будет полным хозяином, и тогда у него будут свои мальчики, которые станут выполнять все его команды. Но с «наркотой» он больше связываться не будет. Конечно, навар с травки бешеный, но и риску много.

Из-за этого ему и пришлось отказаться от липовых

справок, которые он мог без особого труда получить. Милиция что-то прониюхала об их «фирме», и он понял, что можно загреметь по-крупному, если не принять срочных мер. Лучше всего было бы на время куда-нибудь слить, чтобы улеглась пыль. И тут подвернулась повестка из военкомата.

— Георгий, — сказал отец, — я уже кое с кем поговорил, можешь спокойно выбросить эту бумажку.

Рубашвили-старший всю свою жизнь проработал в торговле и любил повторять, что настоящая власть в стране принадлежит коммерсантам, как он называл себя. Когда по телевизору показывали заседание Верховного Совета, он от смеха трясся всем своим тучным расплывшимся телом.

— Ну и цирк! А говорят-то как! Будто они что-то решают! А отовариваться-то все равно придут ко мне, и уже я буду решать, кому дать, а кому и кукиш показать.

При такой власти отцу ничего не стоило оставить сына дома, но Георгий заупрямился.

— Спасибо, папа, но я хочу выполнить свой конституционный долг.

Отец посмотрел на него как на сумасшедшего, внезапно продемонстрировавшего свое полное психическое расстройство.

— У тебя что, с головкой не все в порядке? О каком долге ты говоришь? Пусть его выполняют пролетарии!

— Я тоже пролетарий, — скромно потупил глаза Георгий. — У меня тоже за душой нет ни копейки.

Он потешался над отцом, повторяя расхожие лозунги, но тот принял его слова за чистую монету.

— Ты что, не можешь просто сказать, что тебе нужны деньги? Сколько тебе? Тысячу? Две?

Он торопливо полез в карман за бумажником, но Георгий мягко отвел его руку.

— Спасибо, папа. Если бы мне действительно нужны были деньги, я бы тебе сказал. Но я в них пока не нуждаюсь. А в армию мне надо идти. Надо! — с нажимом произнес Георгий.

Отец, видимо, понял, что за таким бредовым желанием сына стоит что-то очень серьезное, и сдался.

— Хорошо, пусть будет по-твоему.

Но он все-таки позвонил одному из своих влиятельных клиентов, и Георгий был пристроен на непыльную



должность писарем в штабе. Так бы безбедно он и просидел там до окончания службы, но тут поднялась новая истерика с разоружением, и с перепугу полк расформировали. Рубашвили попал в другую часть, где его прежняя беспечальная жизнь осталась только в сладких воспоминаниях.

История с Серовым доставила ему немало хлопот. Его спасло лишь то, что полк готовился к выводу, расследование провели кое-как, все свалили на Серова, а дело закрыли. Правда, от греха подальше Нуралиева перевели в другой батальон, чтобы дружки больше не пакостили вместе. И вот теперь ему приходилось общаться с такими, как Грибков, которые ничего не видели в жизни, кроме комсомольских субботников и танцев в прохуdivшемся сельском клубе.

— Перекур! — объявил Рубашвили и, отбросив лопату, достал из кармана куртки сигареты.

— Только что курили, — недовольно произнес Грибков.

— Ну и что? А если организм требует?

— А больше у тебя организм ничего не требует?

— Эх, Гриб, сейчас бы сюда телячью отбивную, да картошечки поджаренной, чтоб хрустела, да вина венгерского!

— Лучше бы сала, — мрачно сказал Грибков.

Рубашвили жадно затянулся дымом сигареты. Ему стало скучно и тоскливо. Он с отвращением плюнул в траншею, еще раз обругав себя, что не сумел отвертеться от работы на этом заводе. Их привезли сюда утром и сказали, что надо вырыть траншею. Они долго шли мимо каких-то серых огромных корпусов, пока не уперлись в тупик, где лежали толстые белые трубы. Под ними и надо было прорыть траншею.

Докурив сигарету, Рубашвили огляделся. Его внимание привлек молодой долговязый парень в синей длинной куртке, который вышел из дверей соседнего корпуса и зашагал по дорожке вдоль аккуратно подстриженных кустов. Что-то в облике парня показалось Рубашвили неуловимо знакомым. Он напряг память. И вдруг откуда-то выскочило — это же Кусок!

Они как-то вместе были в одной компании, где рекою лилась выпивка. Славно тогда погудели! А этот парень, которого все называли Кусок, пьяно обнимал Георгия и предлагал поехать к какой-то Нинке.

— Кучеряво там отметимся!

Но в тот вечер они так никуда и не поехали, потому что все упились до чертиков, а многие, в том числе и Георгий, накурились еще и травки. Больше он Куска не видел, и вот неожиданная встреча.

— Кусок! — обрадованно крикнул Рубашвили.

Парень резко остановился и недоуменно уставился маленькими бегающими глазками на грязного оборванного солдата, бегущего к нему.

— Не узнал? — запыхавшись от бега, прерывисто спросил Георгий, когда догнал парня. — Помнишь, вместе гудели? Еще ты к какой-то Нинке звал.

— Жорка, что ли? — вглядываясь в Рубашвили, простуженным голосом спросил Кусок.

— Ну! Узнал?

— Кажись, признаю. А ты чего это в такой робе?

— Да я служу, скоро дембель уже. Вот здорово, что тебя встретил! Как ты?

Кусок все еще недоверчиво присматривался к Георгию, словно не доверял своей памяти, тем более что и виделись-то они всего один раз, да и то это было под крепкими парами, но, видно, какие-то воспоминания все-таки остались, и он окончательно поверил, что перед ним тот самый Жорка, с которым они когда-то сидели рядом за столом на вечеринке у шефа, который несколько раз покровительственно похлопал Жорку по плечу, сказав при этом, что из него выйдет толковый делец.

— Нормально, — на всякий случай неопределенно произнес Кусок.

— А я совсем от этой службы офонарел, — пожаловался Георгий.

— Что так?

— Ты еще спрашиваешь? Да тут же от тоски подохнуть можно!

Кусок с минуту о чем-то напряженно раздумывал, сморщив лоб, потом, как бы решившись, раздвинул в подобие улыбки тонкие губы:

— Тоска, говоришь? Это дело поправимое, было бы желание.

— Да желание-то есть, а что толку? Я здесь никого не знаю, вот встретил тебя, а больше знакомых нет.

— Это хорошо, — загадочно сказал Кусок.

— Что же тут хорошего? Не с кем даже по-нормальному поговорить.

— Поговорить найдется, и что-нибудь еще отыщется.

— Неплохо бы!

— Ну, коли так, приходи сегодня вечером. Сможешь?

— Смогу. А куда?

— Тут недалеко, улица Парковая, дом одиннадцать, там рядом булочная. Ну, тогда до вечера.

Рубашвили вернулся к траншее в приятно возбужденном настроении. Его радовала перспектива отдохнуть от этих постылых буден.

— Что это за хмырь? — спросил Грибков, провожая взглядом Куска, который торопливо уходил по дорожке к выходу с завода.

— Почему хмырь? — обидчиво переспросил Рубашвили. — Один мой знакомый, когда-то встречались.

— Не нравится он мне.

— А тебя никто и не спрашивает!

Рубашвили демонстративно отвернулся и ожесточенно нажал на лопату, выворачивая тяжелый земляной пласт. Теперь он уже радовался, что не сачканул от работы, — иначе не встретил бы Куска и не получил бы приглашение весело провести сегодняшний вечер. Все складывается очень удачно: улизнуть с завода не составит никакого труда, а в части его хватятся не скоро, там сейчас не до того, чтобы устраивать контроль за каждым солдатом.

Как Климашин ни оттягивал, как ни старался получить материалы для строительства укрытия законным путем, ничего у него не получилось. Снабженцы только руками разводили, когда он пытался объяснить им свое безвыходное положение, а некоторые даже выразительно покачивали головой, как бы давая понять, что его просьба выглядит откровенно смешной из-за своей наивной веры в какой-то порядок, которого уже давно не было ни в армии, ни в стране.

Он вызвал Ролинского.

— Эдуард Витальевич, придется идти на поклон к директору местного завода. Поезжайте туда и попытайтесь договориться, чтобы нам дали хоть немного кирпича.

— Людей будет просить, — сказал Ролинский.

— Что делать? Дадим людей. Сейчас для нас главное — закончить укрытие, иначе командующий головы нам всем снимет.

— Понял, товарищ подполковник, — бодро произнес Ролинский. — Для верности еще бутылку спирта прихватчу. Разговоры разговорами, а это тоже не помешает.

— Хорошо, действуйте.

Для Климашина этот разговор был неприятен. Все, о чем он говорил зампотылу, невольно ставило его в зависимость от Ролинского, которому он приказал осуществить незаконную сделку, тем самым признавая и себя участником сомнительной акции, где теперь надо идти до конца и выполнить все, что потребуют неожиданно объявившиеся партнеры. На мгновение у него сердце обдало холодком тревоги, как будто он ступил на что-то зыбкое, готовое вот-вот обрушиться под ним и увлечь в пугающую неизвестность, где не приходится ждать ничего хорошего.

«Не ты первый, — попытался он успокоить себя, — все так делают. Подумаешь, проблема — солдаты где-то поработают. Да это же для их пользы: будет хорошее укрытие, значит, обслуживать технику будут не на ветру, а в теплом помещении. Да и труд невелик, не год же придется вкалывать на заводе, зато с материалами затора не будет».

Но эти оправдания не утешали, а, наоборот, подчеркивали еще резче его бессилие, когда он должен хитрить, изворачиваться, придумывать какие-то комбинации, вместо того чтобы честно и открыто делать основное дело, не опасаясь поймать на себе чьи-то косые взгляды, потому что нельзя устраивать что-то нечистое и остаться при этом абсолютно незапятнанным — не откровенной грязью, а всего лишь намеком на нее, что всегда страшнее, так как позволяет кому-то домысливать то, чего не было, но могло быть, потому что почти всегда случается, как бы от этого не отрешивались, ни доказывали, что здесь нет никому никакого урона, а есть только несомненная польза.

В противоположность Климашину Ролинский не испытывал никаких угрызений совести. Он даже недоумевал, почему командир полка раньше не дал ему таких указаний. Он лучше Климашина знал тот особый, не выставляемый для всеобщего обозрения мир, где правят не законы, придуманные наивными людьми, убежденными, что достаточно проголосовать за какое-то решение, как оно автоматически будет выполнено, а другие, никем не писанные правила, которые тем не менее надо непременно знать, если хочешь, чтобы с тобой разговаривали.

Здесь человек оценивается не по иерархии, которая устрашающе выглядит на бумаге, а по степени непосред-

ственного доступа к каким-то ценностям, которые в свою очередь могут быть обменены на другие, не менее реальные услуги. И в этом раскладе какой-нибудь прапорщик будет стоять выше командира дивизии, потому что он, прапорщик, исполняет должность начальника продовольственного склада, где через его руки проходит тот самый дефицит, который может стать эквивалентом любых неожиданных вещей. Еще в лейтенантские годы, когда Ролинский только начинал службу на хозяйственном поприще, ему запомнились поучения, на которые не скупился его начальник.

— Запомни: настоящий хозяйственник должен уметь добыть все.

— А если чего-то нет? — спрашивал Ролинский.

— В мире есть абсолютно все. Вся проблема в том, что это распределено неравномерно: у одного — только гвозди, у другого — только доски. Но если они договорятся, то у них у каждого будут и гвозди, и доски. Ты знаешь, как обменять сено на шоколад?

— Сено на шоколад? — с удивлением переспросил Ролинский.

— Ну да. Предположим, у тебя есть сено. По правилам в определенном соотношении его можно заменить зерном, которое переводится в муку. Дальше на свет появляются дрожжи, потом сахар, а от него к шоколаду прямая дорога.

Ролинский и сам вскоре научился комбинировать. Особенно удавалась ему операция по созданию излишков мясных консервов. Делалось это очень просто. Забывали свинью с прикухонного хозяйства. По правилам при этом должны были присутствовать члены специальной комиссии, в задачу которой входил контроль за тем, чтобы туша была точно взвешена.

Но Ролинский комиссию не приглашал, а управлялся вдвоем с начальником продсклада. Подготовив акт, он шел с ним поочередно к членам комиссии и просил подписать, терпеливо повторяя, что возникла срочная необходимость и он просто не успел всех оповестить.

Члены комиссии, замотанные своими делами, с благодарностью воспринимали стремление молодого начальника продслужбы уберечь их от дополнительных хлопот и охотно подписывали акт. При этом они лишь мельком взглядывали на цифру, обозначающую вес убиенной свиньи. Ролинскому только этого и надо было, потому

что в акте вес указывался на несколько килограммов меньше, чем в действительности.

Дальше шла знакомая операция замещения — в солдатский котел вместо положенных консервов закладывалось сэкономленное мясо. Солдаты недовольно морщились, увидев в бачке крупные куски сала, но дело было уже сделано, обед съеден и забыт. А на руках у Ролинского оставались увесистые баночки, покрытые для надежности хранения густым слоем смазки. Свою долю получали и повар, и заведующий столовой.

При желании банки тушенки можно было продать через магазин, и тогда появлялись живые деньги, которые превращались в другие товары.

Так останки свиньи могли стать бутылкой коньяка или чем-то другим, не менее привлекательным.

Но все это были мелочи, какое-то школьное баловство, годное лишь для поощрения ученического самолюбия, но не дающее настоящего удовлетворения, которое выражалось бы не только в ощущении мастерски проведенной операции, но и в виде солидной стопки денежных купюр, которых хватило бы, чтобы получить все необходимое, что нужно человеку в современной жизни. Ролинский понимал, что сейчас наступило то время, когда можно повернуть любые комбинации. Хаос, неразбериха в стране способны напугать только слабонервных. Для деловых людей наступила самая золотая пора — надо лишь умело воспользоваться тем, что кругом все рушится, и прибрать к рукам самое ценное.

Перестройка, реформы — это для дураков, которые свято верят, что, наоравшись на митингах, они исполнили свой гражданский долг. Пока они надрывались на демонстрациях, ловкие ребята без лишних слов уже разделили между собой все, что плохо лежало, — а плохо лежало буквально все, — оставив остальным согражданам в награду за их революционный энтузиазм обещание в самом недалеком будущем устроить в стране райскую жизнь, где каждый получит кусок колбасы и пару штанов.

Но лишь немногие знают, что одарить счастьем все человечество невозможно. Оно достается лишь тем, кто знает ему истинную цену и способен ее оплатить...

Уже через несколько минут встречи с заместителем директора завода Ролинский понял, что они найдут общий язык. Борис Абрамович Сосняков внимательно выслушал просьбу помочь материалами, даже сочувствен-

но вздохнул, когда Ролинский рассказал, в каком бедственном положении оказалась их часть.

— Да, времена нынче тяжелые,— постукивая пальцами по столу, сказал Борис Абрамович.

Он бросил на Ролинского такой острый цепкий взгляд из-под очков, что тот даже невольно поежился, ощущая себя школьником, который попал к выдавшему всякие виды экзаменатору.

— Прямо катастрофически тяжелые,— на всякий случай поддакнул Ролинский.

— Сейчас всем трудно. Думаете, нам легко? Приходится крутиться в десять раз больше прежнего и все равно еле сводим концы с концами. Даже не знаю, чем вам помочь.

«Знаешь»,— про себя подумал Ролинский, заметив, как в глазах Бориса Абрамовича загорелся огонек заинтересованности, но внешне он снова принял сокрушенный вид.

— Последняя надежда на вас. Если не поможете, нам хана. Начальство со свету сживет.

— Что же оно, начальство-то ваше, не хочет о вас беспокоиться?

— Да оно беспокоится, только у самих-то ничего нет.

— Дела! — неопределенно протянул Борис Абрамович и снова выбил пальцами какой-то пионерский марш.

— Можно бы, конечно, попробовать,— пожевал он губами,— да людей у нас не хватает.

— Людей мы дадим,— быстро произнес Ролинский.

— Сколько?

— Сколько надо.

— На какое время?

— Договоримся.

В таком телеграфном стиле они обсудили все остальные детали взаимного сотрудничества и довольно посмотрели друг на друга. Ролинский счел, что наступил момент для закрепления отношений и достал бутылку спирта. Борис Абрамович спокойно поставил на стол два стакана, а Ролинский разложил завернутую в бумагу закуску.

— За знакомство? — подняв стакан, Ролинский вопросительно посмотрел на Бориса Абрамовича.

— Давай,— заместитель директора дал понять, что он готов перейти на «ты», чтобы не осложнять тост официальным этикетом.

Через полчаса они вели беседу как два закадычных приятеля, которым есть что вспомнить.

— Ты, я вижу, мужик толковый,— подмигнул Борис Абрамович.

— Ты тоже не промах,— засмеялся Ролинский.

— Хорошо, когда деловые люди понимают друг друга.

— А без этого не проживешь нынче.

— Правильно! Молодец! Будет тебе кирпич и другое. Но это мелочь. А можно большое дело повернуть.

— Какое? — Навострил уши Ролинский, но Борис Абрамович шутейно приложил палец к губам, как бы давая знак, что пока рано раскрывать все карты.

— Еще успеем обговорить.

\* \* \*

В танке было душно, клонило в сон. Ночью так и не удалось ни минутки даже вздремнуть. Приказ звучал безоговорочно — к рассвету быть в Москве, батальону занять позицию в районе Манежной площади.

Танкисты, поднятые по тревоге, стояли в строю и хмуро слушали распоряжения, которые чуть хрипловатым от волнения голосом отдавал майор Бойко, исполнявший обязанности командира полка. Подполковник Климашин неделю как уехал в отпуск.

— Особое внимание обращаю на дисциплину в колонне,— обводя взглядом строй, предостерегающе повторял Бойко.— Соблюдать дистанцию, держать скорость. По прибытии на место будут даны дополнительные указания. Командиры батальонов, ко мне.

Саркисян ушел. Оставшиеся офицеры негромко переговаривались между собой.

— Неужто опять где-то заварушка? — знобко поводя плечами, пробормотал капитан Грошев.

Стахович угрюмо смотрел себе под ноги. Неожиданный подъем, спешное построение — все это не предвещало ничего хорошего. Но что за этим кроется, он не знал, и эта неизвестность томила душу.

Когда появился комбат, все взгляды с надеждой и тревогой устремились на него, но Саркисян был немногословен.

— Конкретные указания получим на месте. Сейчас наша главная задача — организованно провести марш.

— А что случилось? — не выдержал капитан Грошев.



— Нам поручено обеспечить порядок в Москве. Больше ничего не знаю. На месте нам все объяснят.

Такое сообщение не успокоило. Оставалась последняя надежда на то, что все прояснится на месте. Танки, раскидывая ночную тишину рокотом двигателей, вытягивались в колонну.

Манежная площадь лежала в легкой рассветной дымке. Москвичи еще досматривали последние сны перед тем, как снова окунуться в привычную круговерть каждодневных забот.

— А что мы здесь будем делать? — недоуменно оглядываясь вокруг, спросил Стаховича механик-водитель его танка ефрейтор Грибков, когда бронированная машина замерла возле самой кромки тротуара.

— Подожди, Грибков, все скажут, — ответил Стахович. Он и сам хотел бы получить ответ на этот вопрос. Заметив идущего к ним подполковника Сильченко, он обрадованно сдвинул на затылок шлемофон.

— Все в порядке? — поднял на него покрасневшие от усталости глаза Сильченко.

— Так точно, товарищ подполковник.

Стаховичу не терпелось узнать, зачем их так срочно перебросили в Москву, но, взглянув на серое, с обострившимися чертами лицо Сильченко, он решил дожидаться, когда тот сам все объяснит. Но Сильченко, прикрыв в ладонях огонек спички, молча закурил.

— Вы же бросили курить, товарищ подполковник, — не выдержал Стахович, надеясь, что это его замечание послужит толчком к началу долгожданного сообщения.

— Тут не то что закуришь, а что-нибудь покрепче возжелаешь, — усмехнулся Сильченко. — Радио слышали?

— Нет. А что там передавали?

— Образован государственный комитет по чрезвычайному положению.

— Интересно! — озадаченно протянул Стахович. — А нас для чего в Москву ввели?

— Вам же сказали, обеспечивать порядок, — недовольно произнес Сильченко. Полчаса назад он задал такой же вопрос генералу Селиванову. Тот властно махнул рукой.

— Оставаться на местах, ждать распоряжений, — и радостно прищурил глаза. — Наконец-то с бардаком будет покончено. Так людям и объясни, Сильченко, что стране, народу нужен порядок. И на армию сейчас ложится почетная задача обеспечить выполнение приня-

тых решений, не дать провокаторам посеять смуту, предотвратить кровопролитие.

На душе у Сильченкоросло тягостное недоумение. Во всем сквозила какая-то торопливая неопределенность — и этот комитет, и призывы к порядку. Конечно, страна катится в пропасть, все разваливается, но неужели это можно остановить одним танковым батальоном? Может, он не все понимает, и уже приходят в движение силы, которые спасут положение, помогут выйти из мрака отчаяния, возродят надежду? Но где они? И когда они дадут о себе знать? И что это значит — обеспечить порядок? Уговаривать разойтись, когда соберется толпа? Но если слова не действуют?

У него даже похолодело в груди, когда он представил себе эту ситуацию. И без того на армию вешают всех собак, а теперь еще быть в роли усмирителей. Это не Карабах и не Осетия, где надо защищать стариков и детей. Кого здесь защищать? И с кем бороться?

В таком смятении мыслей и чувств он и подошел к Стаховичу и, когда тот задал свой вопрос, не нашелся, что сказать, кроме общих слов, которые услышал сам и которые ничего не объясняли, а еще больше порождали вопросов, что горячим неподъемным грузом ложились на сердце, погружая его в томительную тревожную неясность.

— Нечистое тут дело, товарищ подполковник, — упавшим голосом произнес Стахович. — Мне только для полного счастья не хватало второго Афгана.

— Что ты каркаешь? — возмутился Сильченко. Ему вдруг захотелось тяжело, по-мужицки выругаться, не к себе, не к Стаховичу обращая свинцовую нацеленность ругательства, а к кому-то безликому, тайно смотрящему на них на всех, кто оказался на этой площади в такой ранний час не для того, чтобы полюбоваться восходом солнца в древнем городе, а с другими помыслами, которые никто не берется до конца прояснить.

— Ладно, — Сильченко бросил окурок прямо на асфальт, зло растер его ботинком. — Пойду во взвод к Пулькову. А ты тут смотри, чтобы все было без приключений. На рожон не лезь, на провокации не поддавайся.

Стахович снова забрался в танк, невесело думая о том, что жизнь опять сыграла с ним неожиданную шутку. Но если раньше в таких случаях он мог признать себе, что все произошло по его вине, то сейчас не видел никакого личного повода в рождении перемен,

где ему было уготовано участвовать. Никто не спросил, желает он этого или нет, а просто как бы взяли за шиворот и выволокли на людное место, оставив в неведении о дальнейшем развитии непонятного действия.

Когда в танке стало совсем душно, он открыл люк и выбрался наверх. После полумрака отсека в глаза больно ударило солнце, и он прищурился. Когда неприятное ощущение секундной елепоты прошло, он огляделся и удивился. Улица заполнилась людьми. Они бесконечной чередой шли прямо по мостовой, и танки в этом море голов, курток, рубашек, разноцветных платьев и костюмов как-то потерялись. Толпа спокойно обтекала их, окружала шумной разноголосицей, словно видела в этих приземистых боевых машинах с длинно вытянутым стволом пушки не грозно притаившуюся силу уничтожения, а обыкновенный аттракцион, неожиданно устроенный в будний день.

— Дядь, а она далеко стреляет? — Двое мальчишек забрались на танк и с любопытством смотрели на Стаховича. Один из них, маленький, рыжеватый, в потертых джинсах, уцепился за ствол пушки.

— Далеко,— улыбнулся Стахович. Ну и дела! Может, ему начать продавать билеты и брать плату за посещения?

— А сейчас она может стрельнуть? — не унимались мальчишки.

— Не может.

— А почему?

— Потому что зачехлена.

Он хотел сказать, что нет боеприпасов, но что-то его остановило. Тогда вообще получалась нелепица — без боеприпасов боевая машина превращалась в трактор, пригодный лишь для того, чтобы перевозить самого себя.

— Дядь, а внутрь можно залезть?

— Нельзя.

— Почему?

— Там тесно.

Мальчишки разочарованно переглянулись и спрыгнули на землю.

— Солдаты! Дети! От имени всех матерей обращаюсь к вам!

Стахович оглянулся на женский голос. На тротуаре стояла уже немолодая женщина в серой вязаной кофте. Возле нее сразу выросла кучка людей. А женщина, подняв руки, звучно кричала, глядя прямо перед собой:

— Неужели вы будете стрелять в нас? Неужели вы поднимите руку на ваших матерей, сестер, невест, которые борются сейчас за свободу? Опомнитесь! Не слушайте ваших командиров! Наступил решающий момент! От имени матерей призываю вас быть с нами!

И в голосе, и в вздымающихся руках женщины было что-то профессиональное, хорошо отрепетированное, идущее не от порыва, не от самозабвенной отрешенности, когда на карту ставится вся жизнь, а от необходимости выполнить заказанную работу, от опасения, что ее сочтут недостаточно усердной, что может повлиять на получение нового заказа.

«Что она такое говорит? — мысленно ужаснулся Стахович. — Кто собирается в них стрелять? Как можно так думать? Зачем это?»

А женщина все продолжала с ненавистью потрясать кулаками, распаляя себя и окружающих ее людей. Она издавала уже не фразы, а какие-то странные разрозненные слова, похожие на исступленные заклинания, что срываються с покрытых пеной губ безумного деревенского дурачка перед тем, как он, страшно выкатив глаза, упадет на землю. И, подчиняясь этой неведомой заволаживающей силе, люди вокруг женщины тоже стали раскачиваться в каком-то мерном самозабвенном танце, радостно повторяя за ней отрывистые угрожающие восклицания.

— Свобода — да! Тираны — нет! Свобода — да! Тираны — нет!

Какой-то мужчина опасливо обошел эту кучку и еще несколько раз на ходу оглянулся, словно проверяя себя, наяву ли он все это видит и слышит.

— Под танки! Бросаться! Всем! Не пропустим!

Голос женщины перешел в какие-то хриплые завывания, которые нестройным повтором отдались в толпе.

— Не пропустим! Не пропустим!

Толпа прихлынула к танкам. Стахович беспомощно оглянулся вокруг. На него смотрели возбужденные лица, до странности похожие одно на другое, как будто одно лицо, искаженное бездумной решимостью, вдруг разделилось на множество других.

На броню рядом с ним вскочил темноволосый парень в зеленой пятнистой куртке.

— Опомнитесь! — крикнул он и вытянул руку в сторону Стаховича. — Они не виноваты! И они никогда не будут стрелять в народ! Ведь это же ваши сыновья и

братья! Их заставили выйти на эту площадь, но никто не заставит их пойти против народа! Не надо провокаций против солдат! Они такие же люди, как и все мы! И у каждого из них есть матери, которые их ждут!

Толпа замерла, словно людям показали, как они сейчас выглядят, и стала на глазах редеть. Первой исчезла женщина, которая зажгла все эти страсти.

— Ну, что, командир, послушал голос народа? — засмеялся парень.

— Да за кого нас здесь принимают! — от возмущения у Стаховича пересохло в горле, отчего в голосе пробила скрипучая хрипотца.

— Все думают, что вы танками будете разгонять людей.

— Ну и дела! Умнее ничего не придумали?

— А ты не обижайся! Подумай сам — для чего вас здесь поставили?

— Обеспечивать порядок.

Стахович произнес это и сам понял, что такое объяснение звучит каким-то пустым никчемным оправданием здесь, на танковой броне, которая никак не может быть безобидным средством умиротворения, а станет с железной неотвратимостью прокладывать себе дорогу, если вызвать к жизни всю мощь двигателей, готовых выстелить по земле рубчатый след гусениц. И хорошо, если только по земле...

Но и ничего другого Стахович сказать не мог, потому что это звучало бы тогда еще чудовищней и бессмысленней — ведь нельзя же было назвать приятным и осмысленным то, что признавало необходимость появления танков в городе.

— Москвич? — чтобы как-то выкрутиться, спросил Стахович парня.

— Да, он самый. В прошлом году только домой пришел. В ВДВ служил.

— Оно и видно. Лихо у тебя получилось. Я уже думал, что меня растерзают.

— Ну, ты это перегнул.

— Ничего себе — перегнул! Еще немного — и машину бы перевернули.

— Это просто у народа такой настрой боевой. Уж очень много туфты в этой хунте!

— Какая еще хунта?

— Ну, это сейчас так комитет этот чрезвычайный называют.

Словцо, только что пущенное в оборот, показалось Стаховичу каким-то шутовским, словно подмигивающим. В его представлении оно несло в себе совершенно определенное — властное напряжение действия, решительность людей, обладающих оружием и умеющих им пользоваться. А тут — свободно разгуливающие вокруг танков люди, детвора, оживленно снующая вокруг, словно ей обещали увлекательное развлечение. Карнавал, да и только! И те, кто его затеяли, никак не походили на темпераментных южноамериканских полковников, картинно свесивших с плеча автомат. Похожее ощущение он испытывал, когда кто-нибудь называл фазендой свой убогий курятник, приткнутый где-нибудь на краю болота, куда раньше сливали пахучие отходы с ближайшей свиноводческой фермы. Тоже что-то подмигивающее, словно выговоренное с ужимками, с расчетом, что не так будет заметна убогость, а если и обнаружится, то можно будет прикрыть ее угодливым смешком.

— Ну, бывай, командир! Авось еще увидимся!

Бывший десантник легко прыгнул на землю и растворился в толпе. Из люка показалась голова Грибкова.

— Долго будем стоять, товарищ старший лейтенант?

— Спроси что-нибудь полегче, Грибков. Тебе что, наскучило уже?

— Да нет, просто без дела стоим.

— Так радоваться надо, что дела нет. Отдыхай, сил наберайся перед дембелем.

— Чудно как-то все, товарищ старший лейтенант. Сказали, будем обеспечивать порядок, а сами стоим. И никто ничего не говорит.

— Ох, Грибков, ну и настырный же ты! Тебе же русским языком сказали: стой и жди в готовности. У тебя все в норме?

— Конечно, товарищ старший лейтенант! Только я не пойму, как мы будем отсюда выбираться, ведь кругом же народ.

— Разойдется твой народ. Не останутся же они здесь ночевать!

Грибков с сомнением покачал головой и снова скрылся в танке, закрыв за собой люк.

— А вы стрелять будете?

Возле танка стояла девушка и снизу вверх испуганно смотрела на Стаховича. Он оглядел ее и пришел к выводу: ничего стоящего — маленького роста, худенькая,

точно подросток, хотя, наверное, лет двадцать уже исполнилось.

— В кого стрелять, милая? — раздраженно отозвался он. И эта пигалица тоже будет учить его уму-разуму!

— В народ, — тоненьким подрагивающим голосом пролепетала она.

Стахович подумал, что она сейчас, наверное, чувствует себя новой Жанной Д'Арк, бесстрашно вышедшей навстречу неприятелю, чтобы преградить ему дорогу и тем самым спасти свой народ от порабощения. Но ему уже так надоело выслушивать одни и те же вопросы, в которых за ним признавалось совершенно бессмысленное с его точки зрения намерение, что он нарочито грозно нахмурился и предостерегающе поднял руку.

— Девушка, отойдите от боевой техники. Не дай Бог, что-нибудь взорвется, тогда вашим родителям придется долго плакать.

Девушка недоверчиво взглянула на него, но Стахович сделал неприступный вид, и она отошла, обиженно раскачивая белой сумочкой, такой же маленькой, как и она сама.

Стаховичу стало немного жаль, что он так с ней грубо говорил. Она, видать, искренне верила в то, что одним своим вопросом заставит танки застыть на месте. Это надо же было кому-то постараться сделать из них кровожадных маньяков, которые только и ждут команды, чтобы с наслаждением взяться за пулеметы! Неужели об этом не думали те, кто послал их сюда? Неужели не остановила их мысль, что они ставят не себя, а других перед выбором, где любое решение наполнено противоречиями?

Наговорены тысячи речей, сотни краснобаев, именуемых себя народными избранниками, успели намозолить экраны телевизоров, исписаны тонны бумаги, а пробил час, и вся ответственность брошена на плечи солдата, который сейчас один должен решать, что ему делать.

И ничего у него нет — ни микрофона, ни приспособления для голосования, а только нагретые ладонями рычаги и узкая холодная щель триплекса, отсекающая все лишнее и ненужное...

— Товарищ подполковник, вас какая-то женщина спрашивает!

В люк бронетранспортера свесилась голова сержанта Поливайко. Сильченко приподнялся с сиденья, на котором был расстелен солдатский бушлат, с силой провел

рукой по лицу, сгоняя сон, но это мало помогло — после этих бессонных суток, когда не было ни одной минуты отдыха, тело налилось тяжелой дремотной усталостью, которая, казалось, просочилась в каждую клетку, превратив ее в разбухшую вязкую массу. Только под утро, когда на Манежной площади стало тихо, он разрешил себе прикорнуть прямо на сиденьи бронетранспортера.

Сон пришел не сразу — голова гудела от суматохи этого длинного, словно нескончаемого, дня, губы горели от едкой горечи выкуренных бесчисленных сигарет. Он все время старался заглушить в себе чувство тревожного бессилия, когда видишь, как что-то непонятное тащит за собой, но никак не получается сбросить липкую зловещую паутину, — потому так часто курил, не отходил от танкистов, разбирая вместе с ними какие-то мелкие обыденные проблемы, уклоняясь от серьезного разговора, потому что не был готов к нему, но не потому, что хотел кого-то сознательно обмануть, а потому, что сам чувствовал себя нагло и бессовестно обманутым, и теперь должен был разобраться сначала в самом себе, чтобы потом иметь право что-то объяснять другим.

И эти мысли сейчас не давали ему покоя, отгоняя сон. Он крутился на узком жестком сиденье, надеясь найти такое положение, которое даст телу возможность расслабиться, чтобы легче было погрузиться в дремоту, но отовсюду лезли металлические углы, и приходилось то подгибать ноги, то ссутуливать плечи, отчего неудобства становились еще чувствительнее. «Наверное, старею, — с усмешкой подумал он. — Раньше приходилось спать и не в таких условиях».

Но он понимал, что дело не в возрасте, да он его и не чувствовал, как не чувствуют люди веса своей кожи, а причина была в другом — в том, что находилось вне его, но заставляло иметь к нему отношение. Отчаявшись задремать обычным способом, он стал вспоминать какие-то приемы, вычитанные когда-то в книгах — все эти счеты до ста, представление прыгающих через изгородь баранов. Но чем больше он заставлял себя заснуть, тем яснее бодрствовал, напрасно следуя самым надежным, по мысли их создателей, рецептам. Наконец он откинул голову, закрыл глаза и решил просто посидеть, хоть таким образом немного отдохнуть. Долгожданная дремота словно ждала этого и вдруг навалилась на него беззвучным обесцвеченным забытьем. Какие-то широкие извивающиеся тени понеслись на него,



пеленая его в тугие теплые бинты, от которых он не знал, как освободиться, и только с ужасом ощущал, что путы все сильнее стягивают ему руки и голову и с огромной скоростью увлекают его вниз, где мечутся странные далекие огни...

Настойчивый голос Поливайко словно остановил это падение. Он открыл глаза и с трудом выпрямил затекшее тело.

— Кто там меня спрашивает?

— Она сказала, что ее фамилия Туранская,— сказал Поливайко.

Туранская?! Сон мгновенно слетел с него. Он быстро выбрался из люка и прыгнул на землю. Туранская стояла возле бронетранспортера. Поливайко настороженно поглядывал на нее, следя за каждым движением.

— Ты?! — с радостным удивлением, которое он не сумел скрыть, Сильченко бросился к ней.

— Ну, слава Богу, живой и здоровый,— с облегчением выдохнула она и, не стесняясь устремленных на нее глаз, прижалась к нему.

— А что со мной делается? — засмеялся он, осторожно взяв ее за голову и заглядывая прямо в глаза, где стояли слезы.

— Да сейчас кругом такое делается,— всхлипнула она, и что-то извечно бабье, горящеее проступило у нее в лице, которое он видел разным — и властно очерченным, и радостно взволнованным, и усталым, когда морщинки у глаз собираются гуще и виднее,— но никогда он не видел его таким: беспомощно растерянным, по-деревенски сразу опростевшим, точно сквозь тщательную подобранность современной женщины, ревниво следящей за собой, проглянула ее далекая ровесница, вдруг выбежавшая из старой избы на долгожданный стук калитки...

— Со мной все нормально, а ты-то как? — он отвел ее чуть в сторону на тротуар, достал носовой платок.— Давай-ка вытрем слезы.

— Ты прямо со мной как с маленькой,— смущенно улыбнулась она.

— А ты и есть маленькая,— он нежно провел рукой по ее мокрой щеке.— Вон какого страху на себя нагнала!

— Так нам сказали, что скоро чуть ли не бои начнутся! — оправдывающимся голосом произнесла она.

— Что за глупости! — поморщился Сильченко, но

сказал так лишь для того, чтобы успокоить Туранскую. То, что он услышал от нее, уже целый день звучало на площади,—выкрики о готовящейся стрельбе раздавались то в одном месте, то в другом, но почти непрерывно, словно кто-то заботился, чтобы они не затихали, а постоянно будоражили собравшихся людей. Особенно густо они стояли на пятачке напротив гостиницы «Москва». Какой-то мужчина с раскрасневшимся злым лицом кричал в толпу:

— Эти подлые изменники снова хотели обратить всех нас в рабство! Они хотели задушить нашу свободу, завоеванную народом! Эти гнусные партократы, презренные шакалы, алчущие крови, подло воспользовались нашим доверием и собирались повернуть колесо истории вспять! Но мы обрушим эти преступные руки, протянутые к горлу народа!

— Смерть им! — проревела толпа.

Сильченко взглянул на оратора и узнал в нем Сапожникова. Тот, подавшись вперед, словно разбрасывал над головой собравшихся скачущие отрывистые слова.

— Хунта грозит нам новой кровавой диктатурой, но мы не допустим этого!

— Не допустим! — истерично закричали в толпе.

— Банда заговорщиков и предателей растоптала наши святые идеалы демократии! Все на защиту свободы!

— Свобода — да! Хунта — нет! — понеслось над площадью. Крики усиливались, сливались в один слаженный ревущий хор, которым Сапожников, размахивающий руками, словно дирижировал, добиваясь, чтобы все звучало в согласии с известными ему нотами. Чем-то шаманским веяло от его фигуры, как будто он сейчас звал своих сородичей к совершению искупительной жертвы, обещая им за это вечное сияющее блаженство. И, повинаясь этой одурманивающей силе, каждый из собравшихся начинал верить, что они стоят на краю ада, и только не спрашивающим никаких объяснений отрешением от самих себя можно спастись, выбраться на обещанную спасительную твердь.

И в этом тоже была игра, как была игра в том, что на улицы вывели танки и оставили их без движения, как бы выполнив стоящую в сценарии задумку.

— Про бои мне Сапожников говорил,—сказала Туранская.

— И ты поверила?

— Я, может, и нет, но многие поверили.

— Да такие, как Сапожников, только и мечтают, чтобы кровь пролилась. Им обязательно нужно, чтобы появились жертвы. Тогда победа будет убедительней. Вот поэтому они и кричат на всех углах, что армия готовится начать бои. Но ведь и дураку должно быть ясно, что десятком танков ничего не сделаешь, их поджечь — пара пустяков. А самое главное в том, что ни у кого из нас и в мыслях нет стрелять по людям. О каких же боях тут можно говорить? Но ты посмотри, что делается!

Сильченко провел рукой перед собой. За те полчаса, что они разговаривали, толпа на площади стала гуще и плотнее. И если до этого в глазах многих людей было просто любопытство зевак, привлеченных неожиданным зрелищем, то теперь на лицах больше проступала ожесточенная непримиримость, как будто она, вспыхнув в одном месте, принялась стремительно разрастаться, вытесняя прежнее уступчивое благодушие. Так огонь, занявшись поначалу в одной точке, постепенно растекается во все стороны, если старательно раздувать пламя, не давая ему помельчать, остановиться и совершенно погаснуть.

— В такой обстановке можно всего ожидать,— мрачно сказал Сильченко.

— Что же делать, Коля? — Туранская с надеждой посмотрела на него.— Вот уж не думала, что так все получится.

— Я не знаю, о чем думают те, кто нас сюда послал, но для себя я уже сделал вывод: преступные распоряжения выполнять не буду и сделаю все, чтобы их не выполняли и мои товарищи. Поэтому я остаюсь здесь, а тебе надо идти, Вероника.

— Как все это горько и страшно!

— Что делать? Не мы выбираем время, в котором живем. И, может, самое страшное еще впереди.

— О Господи, и так ничего хорошего не видели, а теперь уже и надежд не остается.

— Разве у нас совсем не было хорошего?

Они посмотрели друг на друга, и по тому, как задрелась Туранская, Сильченко понял, что и она тоже вспомнила Терехово.

— Мне было хорошо с тобой, Коля,— тихо сказала она.

— Мне тоже. Наверное, ради таких мгновений и стоит жить. И будем верить, что они еще будут у нас.

— Ты хочешь этого?

— Да. Очень.

— Спасибо, Коля. Мне очень приятно, что ты так говоришь.

— А теперь тебе надо идти. Я боюсь, здесь скоро станет жарко.

— А как же ты?

— За меня не волнуйся. Как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. У меня здесь надежные ребята, в обиду себя не дадим.

— Ты мне позвонишь?

— Обязательно.

— Я буду тебя ждать. Я очень буду тебя ждать!

— Все будет хорошо. Вот увидишь.

Он видел, ей не хочется уходить, но он не мог согласиться с ней, потому что в таком случае он бы беспокоился за нее еще больше, а ему так важно было сейчас знать, что хотя бы ей ничего не грозит и можно жить с надеждой, что он увидит ее, снова почувствует прикосновение ее горячих мягких губ...

Рубашвили сидел, свесив ноги в люк, и скучающе разглядывал толпу, залившую площадь. Ему уже надоела эта непонятная стоянка, когда нельзя никуда отойти, а надо только ждать каких-то распоряжений, которые никак не поступают, но предполагается, что они вот-вот прозвучат, принесся с собой облегчающую определенность, а пока этого нет, все должно быть в полной готовности, чтобы сразу, как только придет команда, приступить к ее выполнению.

Он не воспринимал все случившееся как какое-то событие, которое может перевернуть его жизнь или чьи-то другие жизни. Поначалу это было даже интересно, но не результатом, который должен последовать, а просто как момент разнообразия в солдатской службе, который хоть как-то позволяет отвлечься от ее непреклонной монотонности, что делается такой словно специально, как будто нудная повторяемость событий способна на корню заглушить нежелательные настроения, оставив лишь самые необходимые потребности. И неожиданный бросок на эту площадь, люди, снующие между танками, громкие, возбужденные голоса вокруг превратились для него в некое развлечение, в котором так весело поучаствовать. Но одно и то же быстро надоедает, и вскоре он уже без прежнего жадного любопытства смотрел на многочисленные плакаты, которые,

несмотря на свое количество, были заполнены одним и теми же словами, слушал выкрики, которые повторяли те же слова, что были на плакатах. И люди, что еще совсем недавно казались приподнято оживленными, как будто их собрали, чтобы сообщить страшно важное известие, теперь выглядели озабоченно суетливыми, точно кто-то приказал им быть такими, чтобы никто не выделялся своей особенностью. Они послушно кричали, когда какой-нибудь выступающий требовательно взмахивал рукой, и каждый бдительно оглядывал всех окружающих, как бы выискивая тех, кто не вторит общим возгласам, что надо расценивать как несогласие с ними, а это уже само по себе подозрительно и требует принятия немедленных мер, чтобы достигнутое согласие не нарушалось даже малейшими колебаниями.

Какой-то подросток вынырнул из толпы и бросил Рубашвили листовку. Он взглянул на листок бумаги — там стояли все те же слова, которые безумолчно повторялись везде. Он сунул листовку в карман и принялся разглядывать девушек. Ему хотелось заговорить с какой-нибудь из них, но они все шли в отдалении, а спрыгнуть на землю и подойти к ним он не мог, и оттого в нем вспыхнуло глухое раздражение.

— Гриб! — крикнул он вниз. — У тебя что-нибудь пожевать есть?

Через полминуты в люке показалась рука Грибкова, протягивающего ему краюху хлеба.

— На, больше ничего нет.

Рубашвили начал медленно жевать хлеб. Проходящая мимо немолодая женщина быстро взглянула на него и повернула к танку. На ходу она достала из сумки бутылку молока и белый, в крупных рубчатых вмятинах, батон и протянула все это Рубашвили.

— Возьми, сынок, что же ты одну корку жуешь?

Он взял протянутые ему молоко и булку.

— Спасибо.

— Да за что же? — улыбнулась женщина. — У меня сын тоже служит. Вот увидела вас, солдат, и снова о нем подумала. Он у меня на Дальнем Востоке служит. Писем что-то давно нет. Может, что случилось?

Рубашвили отвел глаза. Он тоже не баловал своих домашних письмами. Просто лень было каждый раз писать одно и то же: «жив, здоров».

— Обязательно напишет. — пробормотал он.

— Ох, не думаете вы о родителях, — покачала головой женщина. — А тут все сердце изболелось. Неужто воевать будете?

— С кем? — засмеялся Рубашвили. — Никто воевать не собирается.

— Ну, дай-то Бог, — вздохнула женщина.

Пока они разговаривали, возле танка собралось человек десять. Они останавливались из любопытства, но потом, разглядев, что солдат пьет протянутое ему молоко, тоже стали протягивать Рубашвили съестное — кто пирожки, завернутые в бумагу, кто мороженое в стаканчиках, кто яблоки.

— Гриб! — позвал он Андрея. — Принимай!

Грибков высунулся из люка, удивленно посмотрел на свертки в руках Рубашвили.

— Что это?

— Да вот, дали. Не отказываться же!

— Ну да, ты откажешься.

— Что же, по-твоему, я все это выпросил?

— Да брось ты сразу в бутылку лезть!

Рубашвили показалось, что кто-то из толпы на него пристально смотрит. Он оглянулся, и у него тоскливо сжалось сердце. В нескольких шагах от него стоял Кусок.

— Ну, как служба? — подмигнул он.

— Нормально, — сдавленным голосом произнес Рубашвили.

— Не забыл, что шефу обещал?

Рубашвили испуганно втянул голову в плечи.

— Тише ты, орешь, как на базаре!

— Не бойсь, никто же не поймет. Так что мне передать шефу?

— Передай, что помню, — пробормотал Рубашвили.

— Тогда ладненько. Я вечером сюда загляну, может, что-то вместе придумаем.

Кусок махнул ему рукой и исчез в толпе. Рубашвили даже ушипнул себя за руку: не привиделось ли ему все это? Но тут же ему пришлось признаться себе, что все происходит с ним не во сне, и он даже чуть не застонал от ощущения какой-то загнанности в угол, откуда нет выхода.

В тот вечер он пришел по адресу, который дал ему Кусок. В небольшой комнате за столом сидели несколько человек. Рубашвили сразу узнал приятеля. Тот был уже навеселе и шумно поприветствовал Георгия.

— Молодец, земля, что пришел!

— Гостя надо не словами, а чаркой встречать, — дружелюбно произнес невысокий коренастый мужчина, сидящий во главе стола. Он цепко оглядел Георгия. — Налей земляку, Кусок.

От забытой обжигающей горечи водки Рубашвили поперхнулся и с трудом выпил поставленный ему стакан. Уже через несколько минут он почувствовал, как у него по всему телу разлилось блаженное тепло. Все поплыло у него перед глазами. Как сквозь плотный радужный туман видел он обращенные к нему лица, слышал голоса, как бы доносящиеся издали.

Сидящий во главе стола мужчина наклонился к нему.

— Ты, я вижу, свой. А как у вас там насчет стволов?

— Это оружие, что ли? — икнул Рубашвили.

— Да. Надо достать. Получишь приличные бабки.

— Опасно, — попытался Рубашвили увильнуть от этого разговора, который клонился явно в нежелательную для него сторону, но мужчина крепко сжал ему плечо, словно предупреждая, чтобы он не вздумал бежать.

— Мы тут о тебе уже говорили. Кусок сказал, что ты не подведешь.

— Опасно, — беспомощно повторил Георгий.

— Да брось ты! Люди и не такие дела делают. А тут и надо-то всего пару стволов прихватить. Ты же не один будешь, Кусок тебе поможет.

— Не знаю даже, что тут придумать, — Рубашвили еще не терял попытки как-то отговориться, но мужчина только похлопал его по плечу.

— Я не шучу, — жестко сказал он. И Георгий понял, что так просто он не отделается. Но надо было как-то протянуть время, может, там что-нибудь образуются, и ему не придется заниматься этим делом.

— Надо подумать, — еле слышно произнес он.

— Вот и хорошо, — одобрительно заметил мужчина и снял руку с плеча Рубашвили. — Вот за это сейчас и выпьем!

Дальше в памяти Георгия наступил какой-то провал. Он не мог вспомнить, о чем они говорили.

И вот теперь ему напомнили...

С балкона третьего этажа санаторного корпуса были видны верхняя часть кипарисовой аллеи и кусочек пляжа. Все остальное пространство занимали море и небо. Климашину даже показалось, что моря было больше. Оно начиналось сразу же от песчаной кромки берега и просторной голубой равниной уходило не в даль, а словно куда-то вверх, почти к самым облакам, неподвижно застывшим у горизонта.

Климашин давно не был на море, и вот теперь оно снова поразило его своей необъятной ширию. Он родился и рос в маленькой степной деревушке, и с детских лет запомнил ощущение беспредельности, которое охватывало его каждый раз, когда он оказывался за деревенской околицей, и перед ним нескончаемо растилалась степь. Взгляд, не удерживаемый никакими предметами, свободно устремлялся вперед, и казалось, вместе с ним так же легко и свободно летит душа, ликуя от этой торжествующей несвязанности.

Поэтому он не любил и не понимал лес, потому что в нем чувствовал себя как в толпе, где надо лавировать между рядом идущими, постоянно метить взглядом свободные проходы и успевать их вовремя проскочить. Это утомляло, заставляло сосредоточиваться не на своих мыслях или переживаниях, а на необходимости соблюдать какие-то правила. Он явственно ощущал облегчение, когда из чащобы попадал на лесную поляну, где деревья вольно расступались, и глазам открывался долгожданный простор.

А море было как степь — такое же беспредельное, как бы осторожно вбирающее в себя, как вбирает небо невесомую пушинку, радостно устремившуюся вверх. И при виде этой безмолвной беспредельности, где ничто не загораживает высоты и солнца, душа словно распрямлялась, точно выходила из тесного затасканного кокона и обнаруживала в себе нетерпеливое желание немедленно устремиться в полет, воспарить над землей, оставив на ней какие-то скучные мелочи жизни, навеки соединенные с тем самым коконом, в котором должна пребывать душа.

— Как красиво! — воскликнула жена, тоже выйдя из комнаты на балкон и встав рядом с ним. Он ощутил прикосновение ее теплого плеча и подумал, что им очень повезло с путевкой в этот санаторий. Они впер-



вые отдыхали вот так, вдвоем, без детей, в санатории. Раньше это никак не получалось — то из-за детей, которых не с кем было оставить, то из-за служебной занятости Климашина, а то и просто из-за нехватки денег, которые надо было экономить, чтобы хоть кое-как залатать дыры в семейном бюджете, что возникали постоянно.

И вот наконец-то повезло. В аэропорту их ослепило до беспечности щедрое южное солнце.

— Ой, а я летнего с собой мало взяла, — забеспокоилась Ирина Сергеевна.

— Ну, какие-нибудь панамки купим и здесь, — сказал он и вдруг ощутил себя непривычно свободным от всяких дел. Они не знали, как добираться до санатория, и Климашин, оставив Ирину Сергеевну с чемоданами, зашагал на стоянку такси.

Санаторий оказался небольшим, но очень уютным. К корпусу, где их поселили, надо было подниматься по неширокой дорожке, выложенной серыми бетонными плитами, на которых постоянно дремали две или три собаки. Они сразу же обнюхали новых постояльцев, как бы запоминая их запах, чтобы потом не тратить времени на выяснение: свои или чужие. Непостижимо, но они действительно тут же уличали чужака, появившегося в их владениях, и осыпали его злым заливистым лаем.

Едва расположившись в номере, Климашины поспешили к морю. На пляже было не очень многолюдно, и они без труда устроились на песке почти у самой воды. Геннадий торопливо вбежал в нее и с наслаждением почувствовал, как волна капризно подхватила его и оторвала от сыпучего, выложенного мелкими скользкими камешками дна. Он поднырнул под закручивающийся белым пенным завитком гребень и радостно замолотил руками по воде.

И потом целую неделю он жил с ощущением некоторой нереальности всего окружающего — моря, солнца, дремлющих под балконом платанов с их огромными, крупно вырезанными листьями, собак, лениво поглядывающих на него, когда он проходил мимо. После напряжения, с которым он жил в эти месяцы, покой представлялся неожиданным подарком судьбы. Потом это ощущение стерлось, растворилось в мелочах — чередование процедур, почти ежевечерние походы в местный кинотеатр, какие-то покупки. И уже не думалось, что и это-

му придет конец, и снова придется впрягаться в прежний знакомый тяжелый воз.

Известие о создании какого-то чрезвычайного комитета не вызвало у него каких-то особенно острых чувств — чехарда событий в стране притупила восприятие каждого из них как явления. Да и остальные, с кем он говорил, лишь пожимали плечами, когда речь заходила об этом комитете: трудно было усмотреть в нем что-то такое, что отличало бы его от прежних людей, что привели страну к пропасти, ведь каждый из них, делая шаг к бездне, обещал, что это в последний раз и именно сейчас начнется движение вперед. Но никакого движения вперед не было, и тогда находился новый пророк или спаситель, который говорил, что до него все шло не так, и только он знает, куда нужно идти. И снова он делал шаг к бездне, и снова обещал, что уж это в последний раз, зато движение вперед будет более уверенным.

Неопределенное состояние для Климашина кончилось в ту минуту, когда он увидел по телевизору танки на улицах Москвы.

— Мне надо возвращаться, — сказал он жене.

— И я с тобой, — с тихой непреклонностью сказала она.

Он попытался уговорить ее остаться, но она, не дослушав его, стала укладывать чемоданы. Климашин вышел на балкон, чтобы в последний раз посмотреть на море...

\* \* \*

Показав часовому пропуск, Сильченко пошел по узкому темноватому коридору, по обе стороны которого тянулись ряды одинаковых, выкрашенных коричневой краской дверей, украшенных поверху табличками с вытесненными на них фамилиями. Взгляд Сильченко скользил по ним, отыскивая дверь в кабинет генерала Селиванова.

Утром ему позвонили из ГлавПУРа и передали распоряжение генерала Селиванова провести собрание в поддержку чрезвычайного комитета. За свою службу Сильченко пришлось организовывать и проводить не одно такое собрание. Обычно указание следовало после какого-нибудь партийного мероприятия, когда нужно

было изобразить массовую поддержку принятых решений. Все строилось по привычной, хорошо отработанной схеме — сначала выступал кто-то из руководства и с деланным пафосом сообщал о новом историческом решении, которое сделает нашу прекрасную жизнь еще прекраснее, потом предварительно проинструктированные активисты заявляли, что они, как и весь советский народ — о народе требовалось сказать обязательно, чтобы еще раз подчеркнуть неразрывную связь с ним армии, — безмерно гордятся и от всего сердца одобряют: тут начинались варианты, в зависимости от того, что только что свершилось — очередное награждение вождя каким-то орденом или значком, его выступление перед знатными собаководами или принятие Продовольственной программы.

И всем этим предписано было гордиться и всенародно одобрять. Для этого, собственно, и существовали партийные организации, которые и брали на себя неблагодарную роль организаторов очередного спектакля. В нем, как в обычном спектакле, разучивали роли, готовились декорации, писалась музыка. Вообще-то говоря, музыка уже была написана, и вся страна с умилением смотрела, как очередной партийный вождь разевает рот, делая вид, что он с воодушевлением исполняет Интернационал. Декорации тоже были готовы — всякие там Дворцы, университеты марксизма-ленинизма, Дома политпросвещения и прочие сооружения, специально приспособленные для излияния народного ликования.

Сложнее обстояло с разучиванием ролей. Но и тут партия не ударила в грязь лицом — на такой важный участок была брошена целая армия всякого рода инспекторов и инструкторов. Им-то и поручалась подготовка актеров на одно выступление. Здесь тоже все делалось по строго определенной схеме — указывалось не только число выступающих, но и их состав: ветеран с добродушным отеческим взглядом, загорелый участник боев в Афганистане, миловидная девушка со звонким голосом.

Инспекторы и инструкторы писали для них текст, который им нужно было с чувством озвучить. При этом режиссеров нисколько не интересовало, что хотят на самом деле сказать подвластные им статисты. Предполагалось, что это лучше знают люди, облеченные соответствующими полномочиями. Они определяли все: тему

выступления (о соцсоревновании, авангардной роли коммунистов, работе с молодежью) и сам стиль речи (бодро-народный, восторженно-заикающийся, укоризненно-бичующий).

В положенный час на сцене загорались огни, бледные актеры выходили к трибуне, и начиналось великое вранье, которое, не стыдясь, показывали на весь мир, непоколебимо считая, что именно таким образом растет могущество и процветание державы.

Теперь нечто подобное требовалось организовать и Сильченко. Звонивший ему полковник внушительно повторил:

— Имейте в виду, этому придается большое значение. Мероприятие на контроле у самого генерала Селиванова.

— У нас трудно сейчас собрать людей, они все на постах, — Сильченко попытался под благовидным предлогом откреститься от этого собрания. Какая поддержка, если никто толком ничего не знает? А если и поступают сообщения, то они выглядят настолько противоречивыми, что голова идет кругом. И что нужно поддерживать? Все напоминает какую-то странную игру, где затеявшие ее внезапно бросили карты и выскочили из-за стола, к которому немедленно устремились другие искатели крупного куша.

— Организуйте обсуждение посменно, а нам доложите общий результат, — в голосе полковника прозвучали нетерпеливые нотки. — Вы что, не понимаете, что происходит?

Сильченко охватила холодная ярость, когда страх за себя кажется постыдной слабостью.

— Я-то понимаю, это вы не понимаете, что происходит, — закричал он в трубку. — И никакого собрания я проводить не буду! Хватит болтовни! Вы мне лучше скажите, когда нас отсюда уберут? Мне уже стыдно людям в глаза смотреть!

— Вы что себе позволяете? — гневно повысил голос полковник. — Я немедленно доложу об этом генералу Селиванову!

— Ха, напугали! Я ему то же самое скажу, ясно?

Но дальнейший разговор не получился, потому что полковник бросил трубку. На душе у Сильченко стало мутно, как будто он прикоснулся сейчас к чему-то гадко скользкому, одно ощущение близости которого вызывает дурноту.

Он не жалел о том, что сказал, потому что все это по капле давно уже наполняло ему душу, а в эти дни груз осмысления стал особенно тяжелым. И надо было разом освободиться от него, иначе он может просто раздавить, и тогда уже никогда не подняться, хотя внешне, может, все останется по-прежнему, но он будет знать, что внутри у него все рухнуло, и обломки больно царапают душу и наполняют ее чужим подвальныйм холодом...

Через полчаса ему позвонили и приказали срочно прибыть к генералу Селиванову.

Сильченко вошел в кабинет, встал у дверей. Селиванов молча посмотрел на него тяжелым взглядом и привычно откинулся на спинку кресла. Наконец он заговорил резким раздраженным голосом:

— Что это за детские капризы, Сильченко?

— Это не капризы, товарищ генерал, — Сильченко старался говорить твердо, не выдавая кипевших в нем чувств.

— Тогда объясни мне, что это такое? Тебе была дана установка, которую требовалось выполнить, а ты? Струсил? Испугался крикунов, которых завтра и след простынет? Тебе что поручила партия? Проводить ее линию!

— Партия мне такой линии не давала, — угрюмо сказал Сильченко.

— А тебе что, моих указаний недостаточно?

— Я такие указания выполнять не буду.

Сильченко переступил с ноги на ногу, испытывая мучительное желание повернуться и хлопнуть дверью. О чем еще можно говорить в этом кабинете? Но многолетняя привычка сдержала его, и он остался на месте.

— Понятно, — многозначительно протянул Селиванов. — В таком случае вы отстраняетесь от должности. Ясно?

— Как это — отстраняюсь? — охрипшим голосом произнес Сильченко.

— А вот так, как слышали. Вы свободны. Приказываю сегодня же убыть в полк и сдать дела.

В коридоре Сильченко не сразу вспомнил, в какую сторону ему идти к выходу. Голова у него точно налилась свинцом, от которого нестерпимо ломило виски.

— Николай, ты что тут делаешь? — его крепко ухватил за рукав невысокий полноватый подполковник.

Сильченко всмотрелся в него и узнал Петра Гостева, с которым вместе учился в академии.

— Вот, у начальства на ковре был, — он вяло махнул рукой в сторону кабинета Селиванова.

— Тогда понятно, — засмеялся Гостев. — То-то я смотрю, ты выскочил как ошпаренный.

— Тут будешь как ошпаренный! — ало прищурился Сильченко.

— А что случилось?

Сильченко хотел сказать, что его только что отстранили от должности, но передумал: слишком многое надо было объяснять.

— Хотят крайним сделать в своих играх.

— Это у нас могут, — усмехнулся Гостев. — Но ты особенно не переживай. Скоро этому цирку придет конец.

— Скорей бы уж! — выдохнул Сильченко. — Надоела эта непонятная возня.

— Жалко только, что из-за нескольких дураков много народу пострадает ни за что, — мрачно произнес Гостев.

Разговор с ним как-то успокоил Сильченко, хотя ничего хорошего он не услышал. Но появился — пока слабенький — просвет.

Он отдал пропуск часовому и медленно вышел на улицу. Ему показалось, что он вырвался на свободу, о которой уже и не мечтал. Он остановился и достал из кармана рубашки маленький, изрядно потертый блокнот, где у него был записан телефон Туранской.

...Из аэропорта Климашин поехал в комендатуру. Там ему сказали, что его танкисты находятся в районе Манежной площади.

Он шел по проспекту и недоуменно оглядывался вокруг. Перед посадкой в самолет среди пассажиров было много разговоров о событиях в Москве. Какая-то женщина с туго набитым полиэтиленовым пакетом в руках, на котором была оттиснута мускулистая грудь Шварценегера, поминутно восклицала:

— Какой ужас! Говорят, там стреляют!

Стоявший рядом с ней молодой мужчина в легкой голубой футболке успокаивающе говорил:

— Не драматизируй, Ниночка! Все будет нормально!

— Как ты можешь так спокойно рассуждать! — негодовала женщина. — Ведь там же танки на улицах!

— Ну и что? Это еще ни о чем не говорит!

— Да ты не понимаешь, что опять старые времена вернутся!

— Может, и к лучшему, — философски заметил кто-то из пассажиров.

Дальше разговор пошел о том же, о чем говорилось везде, — о непомерных ценах, пустых прилавках государственных магазинов, аферах, перекупщиках, кооператорах, коммунистах, демократах, борьбе за власть, перестрелках, беженцах. Из всего этого, как из отдельных камешков складывается мозаичное панно, вырисовывалась картина общего развала и хаоса, где все перепуталось, перемешалось, потеряло устойчивость, бросив человека в какой-то мутный зловещий водоворот. Но говорилось обо всем этом без особого негодования, с какой-то покорной безнадежностью, как будто главное состояло не в том, что все рушится, а в том, где можно достать носки и сколько времени пришлось стоять в очереди, чтобы купить вареной колбасы.

В этом было что-то от кроликов, которые суетливо жуют траву перед тем, как их выдернут за уши из клетки и бросят под нож.

И в самой Москве Климашин не заметил ничего такого, что отличало бы ее от обычного состояния, — те же толпы прохожих на улицах, та же их неубранность и запущенность, как будто люди уже разучились жить в чистоте и опрятности, равнодушно проходя мимо зловонных куч мусора, рядом с которыми юркие юноши кавказской внешности бойко торговали самодельными пирожками с начинкой из какого-то странного фиолетового мяса. Правда, в метро собирались какие-то кучки и молча читали листовки, наклеенные прямо на мрамор столбов, а потом так же молча, не глядя друг на друга, расходились, точно сразу же потеряв интерес к только что прочитанным сообщениям.

Климашин подумал, что издали все происходящее здесь представлялось более тревожным, во всяком случае, не таким обыденным. И странно было читать в листовках о том, что над всеми нависла смертельная угроза и что нужно бросить все силы на спасение от нее, как будто без этих проклятий и призывов никто и не вспомнит об этом, и так же будут все торопиться на работу, давиться в очередях, думать о самых простых вещах — о колготках для дочери, покупке проездного билета, талончике в поликлинику.

Еще издали Климашин увидел свои танки. Он при-

вык смотреть на них на полигоне, где приземистая машина казалась одушевленным существом, которое ловко обходит препятствия, лишь иногда где-то задерживаясь, словно раздумывая, как ей лучше поступить, чтобы потом быстрее добраться до намеченной цели. Он испытывал горделивую радость, когда многотонная машина одним броском взлетала на гребень высоты и с победным рокотом двигателей устремлялась вперед. В такие мгновения верилось, что ее ничто не может остановить, как невозможно остановить снаряд, вырвавшийся из пушки, чтобы до конца пройти отмеченный ему путь.

Здесь же, в городе, окруженные торопливо снующими людьми, танки выглядели так же нелепо, как наспех положенные рельсы на гладком, до зеркального блеска натертом паркете. И с ними обходились как с рельсами, которые нельзя сдвинуть, но которые можно обойти, испытав при этом лишь неприязненное недоумение от неожиданно возникшего неудобства.

У крайней машины Климашин наткнулся на ефрейтора Грибкова, который досадливо осаживал двух парней, у одного из них на шее висел фотоаппарат.

— Да мы только сфотографируемся! — упрасивали ребята.

— Нельзя, — устало пожимал плечами Грибков. Он внимательно взгляделся в подошедшего к нему Климашина и, узнав, радостно воскликнул:

— Товарищ подполковник, как вы нас нашли?

— Так все о вас только и говорят, даже по телевизору показывают.

— Да уж, было, — засмущался Грибков. В одной из программ теленовостей его действительно показали крупным планом — он стоял возле танка и обиженно повторял, протянув к телекамере пустые руки:

— Нет у меня никакого оружия!

— Как вы тут? — спросил Климашин, испытывая такое чувство, будто он вернулся в родную семью, где все ему близко и дороги.

— А по-всякому, — широко улыбаясь, ответил Грибков. Он откровенно радовался командиру полка, рассудив по солдатской привычке, что с ним будет лучше. И посчитав, что этой радостью надо обязательно поделиться с другими, крикнул, повернувшись: — Товарищ старший лейтенант, здесь командир полка прибыли!

Из люка показалась взлохмаченная голова Стахови-



ча, который с минуту всматривался в Климашина, не узнавая его в светлой рубашке и бледно-голубых джинсах-варенках, а признав, тоже обрадованно просиял лицом:

— Вот здорово, товарищ подполковник!

— Что же тут здорово? — развел руками Климашин.

— Ну, я к тому, что с вами будет спокойнее.

— А что, обижают? — засмеялся Климашин.

— Да нет, просто непонятно все это. Потому и настроение у всех неважное.

И хотя Климашин никуда не отходил, уже через минуту все в батальоне знали, что прибыл командир полка. Климашин увидел, как к нему спешат Сильченко и Саркисян.

— Что, не дали отдохнуть? — спросил, пожимая ему руку, Сильченко. Он все-таки вернулся в батальон. По телефону, который дала Туранская, так никто и не ответил. Он долго слушал длинные и далекие гудки, потом медленно повесил трубку. «Значит, не судьба», — подумал он и спрятал блокнот в карман. И только после этого он понял, что должен вернуться в батальон. Что бы ни случилось лично с ним, он не имеет права уходить в сторону, чтобы потом оправдать это какими-то непреклонными обстоятельствами, которых не было у других, а была обязанность выполнить все им положенное, в том числе и за него.

— В общем, положение, как у того крестьянина, которого все бьют: и красные, и белые, — невесело заключил Сильченко свой рассказ о событиях минувших дней.

— И главное дело, опять армию подставили! — гневно произнес Саркисян.

— Это я уже вижу, — нахмурился Климашин.

— Сколько же можно! — опять не выдержал Саркисян. — Ведь потом все чистенькие будут, а на нас навешают всех собак.

— Это уж непременно, — усмехнулся Сильченко. — Можно подумать, мы сами этот цирк затеяли.

Он вспомнил разговор со своим однокашником, которого недавно встретил в ГлавПУРе, и сердито махнул рукой.

— Как можно так делать — вывести войска и бросить их на произвол судьбы? Я никогда не был о нашем министре высокого мнения, но в такую авантюру армию втянуть — это уже ни в какие ворота не лезет. А эти, чекисты? Они-то куда смотрели? Бардак, да и только!



Надо, Геннадий Сергеевич, что-то делать, иначе тут все большой бедой пахнет. От такого руководства, прости Господи, ничего хорошего ждать не приходится.

Климашин и сам уже понял, что эта стоянка в самом центре города превращается в унизительную нелепицу, которая чем дальше, тем все больше будет приобретать черты той же самой сумятицы, что царила вокруг и от которой их призывали избавиться такими бестолковыми судорожными действиями, как будто хаос можно предотвратить тем, что внести в него новый беспорядок.

— Пойду к командующему, — сказал он. — Надо, чтобы нас вернули в Зареченск. Иначе...

Он хотел сказать, что иначе придется самим принимать такое решение, но в последний момент удержался, посчитав, что пока не следует торопить события.

Но к командующему он так и не попал. Его порученец, которому он позвонил по телефону из бюро пропусков, сухо ответил, что генерал Кабаргин занят и никого не принимает.

— У меня срочное дело! — настаивающе произнес Климашин.

— Ничего не могу, — еще суше ответил порученец и положил трубку.

Климашин выругался и вышел из тесной кабинки, растерянно оглядываясь вокруг. «Ну и черт с вами! — Он сел на стул, блаженно вытянув гудящие от усталости ноги. — Как-нибудь и сами разберемся». Но это была лишь первая, скорее инстинктивная реакция на неудачу, которую он только что потерпел. Опыт подсказывал ему, что только одним своим решением он ничего не добьется. Нужно, чтобы распоряжение отдал кто-то выше его по должности. Вся надежда у него была на командующего. Теперь ясно, что с ним встретиться не удастся.

«А может, такое решение уже принято?» — мелькнула у него мысль. Ведь не один же он, наверное, понимает, что дальше оставаться им в городе нельзя. Неужели никто не видит, каким раздражающим упрямством выглядит вся эта неуклюжая демонстрация? Но вспомнив разговор с Сильченко и Саркисяном, он понял, что эти надежды пока относятся больше к области несбыточных. Выходит, надо смириться с тем, что есть?

При мысли об этом его душу охватило возмущение. Хорошенькое дело получается! Кто-то будет затевать свои игры, а расхлебывать придется им. Неужели Тби-

лиси было недостаточно, чтобы понять, что первым оружием всех этих дурно пахнущих интриг становится армия, и она же становится их первой жертвой, потому что и победители, и побежденные не любят, когда их уличают в желании использовать такую удобную своей молчаливой безотказностью силу?

Неожиданно он подумал о заместителе командующего генерал-лейтенанте Головкове. Климашин помнил его еще командиром полка, где он сам начинал сразу же после окончания военного училища командиром взвода. Потом служба развела их. Встретились они, когда Климашин стал командиром полка, а Головков — заместителем командующего. На одном из совещаний Климашин в перерыве подошел к нему.

Головков разговаривал с невысоким круглолицым генералом. Климашин узнал так запомнившуюся ему энергичную напористость бывшего его командира полка. Он разговаривал с офицером так, будто только от результата их беседы зависело решение какого-то вопроса, и больше не потребуется никаких согласований или ссылок на необходимость выяснить чье-то мнение. Все выяснялось именно сейчас, в эти минуты, и тут же следовало решение, так что собеседник становился участником этого процесса и принимал все утвержденное как лично им выношенное.

Вот и сейчас Климашин видел, как генерал Головков что-то настойчиво втолковывает своему слушателю. Дождавшись, когда объяснение закончилось и Головков направился к выходу из зала заседания, Климашин подошел к нему.

— Здравия желаю, товарищ генерал!

Головков внимательно посмотрел на него, и глаза потеплели приветливостью узнавания.

— Климашин?! Здравствуй, дорогой! Слышал о тебе. Рад, что встретились.

— И я тоже рад, товарищ генерал. Я часто вспоминал наш полк, как вы нам спуску не давали.

— Что, теперь не обижаешься? — засмеялся Головков.

— Никак нет! На такую школу грех обижаться.

— Ну, спасибо!

Они поговорили еще о полковых знакомых — кто кем стал, где служит. Климашин почувствовал, что Головков всем этим интересуется не по долгу обычной вежливости, за которой ничего не стоит, а по своей иск-

ренней расположенности к людям, с которыми вместе служил, а значит, вместе с ними изведал и тревоги, и надежды, и радость, и боль. Только одни это быстро забывают, считая, что все, что осталось в прошлом, безвозвратно кануло и больше нет никакого смысла к нему возвращаться, а другие бережно хранят в себе все, что дарила им судьба.

Потом они еще встречались на разных совещаниях, и каждый раз Климашин ощущал расположенность Головкова к себе, но не то отношение снисходительности старшего к младшему, когда просто приятно вспомнить и собственную молодость, а товарищескую участливость, когда продолжает жить ответственность за человека, которому когда-то помог обрести себя, вложив в это и частицу своей души.

Он узнал в справочной телефон Головкова и позвонил ему. В трубке долго раздавались длинные гудки, и Климашин уже решил, что генерала нет на месте, когда вдруг гудки стихли и он услышал знакомый голос. Климашин назвал себя, хотя понял, что Головков узнал его, и торопливо рассказал ему об обстановке.

— Знаю, — коротко произнес Головков. Он вообще не отличался склонностью к длинным фразам, так что в этом отношении они с командующим сходились. — Понимаю твое беспокойство. Меры уже принимаются. Скоро к вам поступит команда на вывод.

— На вывод? — облегченно переспросил Климашин.

— Да, — твердо подтвердил Головков. — Готовьте технику и людей. Надо принять все меры, чтобы вывод прошел нормально. Ведь у тебя в этом деле уже есть опыт. Так?

— Так, — Климашин как бы вдруг увидел, что Головков усмехнулся, произнеся слова об опыте.

— Тогда желаю успеха. Не подкачай, однополчанин!

Климашин, довольный тем, что кончилась эта проклятая неопределенность, не знал, что час назад Головков зашел в кабинет командующего и прямо с порога решительно заявил:

— Войска надо немедленно выводить из города. Нечего нам самим себя на позор выставлять.

— Алексей Иванович, ты в своем уме? — командующий раздраженно посмотрел на Головкова. — Да нас с тобой министр за это сразу же с должности снимет,

— Пусть снимает, но я в таком балагане участвовать не хочу. Вы посмотрите, что в городе делается?

Командующий и сам знал, что положение с каждой минутой становится все тревожнее. Требования вывести войска теперь звучали не только с самодельных плакатиков, но и из уст представителей власти, а это значило, что могут последовать самые неожиданные меры. И если, с одной стороны, действия становились все более решительными и активными, то с другой — вообще не ощущалось никаких признаков жизни, словно силы, давшие толчок, сами испугались, что он произошел, и теперь в растерянности смотрели, как нарастает обвал, созданный их руками.

В этих условиях даже сама мысль о том, чтобы привести в движение армию, была не только бесполезной, но и кощунственной, потому что любое противостояние обрекло бы на страдания многих и многих людей. Но, понимая это, генерал Кабаргин не мог переломить многолетней привычки к послушанию — привычки, которая стала его второй натурой и даже сейчас запрещала оспаривать чье-то решение, потому что оно исходило от людей, которые были его начальниками и, следовательно, обладали полным правом повелевать им, его жизнью и судьбой, не спрашивая, согласен он с этим или у него есть другое мнение на этот счет.

— Нет, Алексей Иванович, я должен выполнять приказ.

— Чей приказ? Людей, которые уже подписали себе приговор и теперь тащат за собой других? Где они сейчас? Почему молчат? И сколько времени будет продолжаться это выжидание?

Командующий слушал эти вопросы, наклонив голову, точно их тяжесть пригибала его, давила своей необходимостью дать на них немедленный ответ, не прячась за спины других, а принимая всю ответственность на себя, даже наперекор тому, что возлагали на него в слепой надежде, что не возникнет никаких осложнений и одно только принятие решения будет способно развеять все сомнения и колебания.

— Не могу, Алексей Иванович, — трудно сказал командующий, и Головков впервые увидел в его лице какую-то упрямую отрешенность, точно он решил нести свой крест до конца, понимая, что это потом его и раздавит, но не желая увернуться от бездумно давящей сверху тяжести.

— Хорошо, тогда я сам отдам такой приказ, — прямо глядя в глаза командующему, произнес генерал Головков. Он постоял еще немного, ожидая, что скажет генерал Кабаргин, но тот молчал, и Головков вышел из кабинета.

Он понимал, что с точки зрения всех принятых канонов он нарушил важнейшую заповедь, по которой обязан выполнять любой приказ, даже самый бессмысленный, при этом не выразив ничем сомнения, а выразив только готовность точно и в срок справиться с порученным заданием. В конце концов он мог просто промолчать, зная, что вся ответственность падет не на него, даже сделать вид, что он вообще слишком мелкая фигура для таких дел, но как бы он тогда смотрел в глаза людям? Как бы он смотрел в глаза Климашина и других офицеров и солдат, кто доверился ему, не имея возможности знать все?

Как бы он тогда жил, читал книги, смотрел, как тает первый снег, встречал друзей, возвращался домой? Нет, иначе он поступить никак не мог...

Триплексы высекали пространство впереди узким четким прямоугольником. В нем уместилась только проезжая часть дороги, по обеим сторонам которой тянулись цепочки редких ночных огней. За ними в сумраке терялись стены домов, кое-где словно пробитые яркими квадратами освещенных окон. Стахович с удовольствием подумал о том, что скоро и он зайдет в свою холостяцкую комнату, включит лампу, возьмет книгу и вытянется не на жестком откидном сиденье, а на настоящей кровати, с наслаждением ощущая наступивший покой.

Впереди мерно покачивались сигнальные огни танка, за которым шла их боевая машина. Она замыкала колонну. После того как они свернулись и приготовились покинуть площадь, к Стаховичу подошел майор Саркисян.

— Учти, ты идешь замыкающим, — сказал он. — Будь повнимательней.

— Все будет нормально, товарищ майор, — Стахович похлопал себя по куртке, сбивая пыль. — А отгулы нам дадут за эти дни?

— Какие тебе отгулы? — сердито нахмурился Саркисян. — А кто технику после марша будет приводить в порядок?

— Вот так всегда, товарищ майор. Никакого свобод-

ного времени у советского офицера. А мне, может, отгул для дела нужен.

— Знаем мы ваши холостяцкие дела.

— А что? Дело молодое, только и погулять. Но я совсем для другого хотел у вас отгул попросить.

— Что приключилось?

— К Пулькову хочу в госпиталь съездить, узнать, как там у него, скоро ли собирается возвращаться.

— Вряд ли он вернется, — вздохнул Саркисян. Услышав эти слова, Стахович побледнел.

— Он жив? — еле выговорил он непослушными губами.

— Живой, — удивленно посмотрел на него Саркисян, не поняв, что его фразу можно истолковать в самом печальном смысле. — А не вернется потому, что его собираются комиссовать по болезни. Доктор наш ездил в госпиталь, там ему это и сказали.

— Вот оно что, — растерянно протянул Стахович. Он никак не думал, что у Дим Димыча так серьезно обстоят дела со здоровьем. Ведь он никогда не жаловался, как некоторые, кто даже из-за самой пустяковой болячки впадают в такую панику, как будто грядет мировая катастрофа. Взять того же Торчака. Чуть что, он сразу бежал в медпункт. При мысли о Торчаке Стахович вспомнил вчерашнюю встречу с ним.

Торчак пришел днем, когда они еще ничего не знали о том, что их ждет. Стахович даже поначалу не узнал его — форма всегда сидела на Торчаке как седло на корове, — а тут стоял элегантно одетый молодой человек и с легкой улыбкой смотрел на него.

— Привет бывшим танкистам! — первым поздоровался Стахович.

— Привет! — солидно отозвался Торчак.

— Как жизнь гражданская?

— Прекрасно! Ничуть не жалею, что уволился из армии.

— А где сейчас работаешь?

— Референтом у Сапожникова.

— Это который в Верховном Совете?

— Он самый.

— Не хило! — завистливо вздохнул Стахович.

— Не жалуюсь, — откашлялся Торчак. — А ты как?

— Командир полка меня сначала грозился со свету сжить за тот случай на полигоне, а потом сменил гнев



на милость, обещал даже на курсы послать. В общем, жить можно.

— Ну какая это жизнь? — усмехнулся Торчак.

— Не всем же так везет, — съехидничал Стахович.

— И вовсе не в везении дело! — обидчиво произнес Торчак. Ему хотелось показать, что не какие-то благоприятные обстоятельства сыграли решающую роль в его судьбе, а его собственное благоразумие, которое вовремя подсказало ему нужный выход. — Думать головой надо. Сейчас в армии служить — пустое дело, напрасная трата времени. Сейчас мало дураков, чтобы вкалывать по шестнадцать часов в сутки и получать за это гроши. А на гражданке можно иметь такие бабки, какие тебе и не снились, и жить не в такой дыре, как Зареченск, а где-нибудь поприличнее, да и за границу съездить не проблема.

— Красиво говоришь, только и на гражданке без знакомств никуда не попадешь.

— Это верно, — приосанился Торчак. — А у нас не принято друзей забывать.

— Что ж, может, когда и придется за помощью обратиться. Не забудешь?

— Можешь не беспокоиться, — многозначительно сказал Торчак, поправляя модные дымчатые очки. — К нам сейчас большие люди приходят. Вот только сегодня был генерал Селиванов.

— Я что, маленькая сошка! Выгонят из армии, пойду слесарем в мастерские.

— Можно найти что-нибудь и получше.

— И на том спасибо.

Стаховичу уже наскучил этот разговор. Он испытывал не зависть, а досадливую обиду на то, что вот он или Дим Димыч так и будут добросовестно тянуть лямку, а такие, как Торчак, станут вершителями их судеб, милостиво предлагая в порядке снисходительности сделать им какое-нибудь одолжение.

— Я к тебе по делу, — заторопился Торчак и, оглянувшись по сторонам, приблизился к Стаховичу. — Понимаешь, я один разговор слышал, не буду говорить где, это неважно, главное другое. В общем, тут кое-кто хотел бы, чтобы получился небольшой шум. Что это будет такое, я не знаю, но поостеречься вам нужно.

Стахович впервые посмотрел на Торчака с признательностью: все-таки что-то осталось в душе у парня. И прощание у них вышло теплее, чем встреча.

Он собирался рассказать о разговоре комбату, но тут приехал Климашин и сообщил, что по приказу генерала Головкова танки покидают город. Началась обычная суматоха подготовки к маршу, и Стахович забыл о предостережении, которое, к тому же, звучало очень туманно. Да и что теперь могло произойти, если все кончилось и они уходят? Если бы они остались, тогда, может, и надо было бы чего-то опасаться, а так через час они уже будут далеко отсюда, и все, что здесь было, станет воспоминанием, которое не всегда захочется ворошить.

Его больше волновала теперь судьба Дим Димыча. А может, оно и лучше, что он уволится из армии? Торчак, конечно, не авторитет, но он прав, когда говорил, что скоро офицеры будут среди самых нищих людей. Стоит ли тогда тратить годы, здоровье, силы? У него мелькнула мысль, что надо подумать и о собственной судьбе. Надо будет поговорить с Дим Димычем — его ободрить да и самому кое-что выяснить.

Огни идущей впереди машины описали полукруг и скрылись за поворотом. Неожиданно оттуда вывалила толпа и заполнила улицу. Стахович открыл люк и высунулся наружу.

— Осторожно, пропустите нас! — крикнул он, но его слова были заглушены громкими возгласами, потом по броне застучали камни.

Стахович проворно нырнул вниз и озадаченно шмыгнул носом. Ну и дела! Не хватало в самый последний момент найти на свою персону приключения. Что же делать?

— Давай потихоньку, — передал он механику-водителю, надеясь на то, что вид движущейся боевой машины все-таки заставит людей расступиться.

Они, действительно, образовали неширокий коридор, в который медленно втянулся танк. Теперь Стахович с тревогой подумал, что они оказались в ловушке. «Только бы обошлось!» — пронеслось у него в голове.

До конца прохода оставалось несколько метров, и он уже с облегчением перевел дыхание, когда сзади что-то ярко вспыхнуло. Впереди по дороге побежала черная уродливая тень.

— Горим! — закричал Грибков и остановил танк. Пламя сзади вспыхнуло еще ярче.

— Экипажу покинуть машину! — приказал Стахович. Он еще успел проверить, не остался ли кто-нибудь

в танке, и торопливо вытолкнул люк. В лицо ему плеснуло жадным обжигающим огнем, и земля вдруг бешено закружилась у него под ногами. Он хотел крикнуть, чтобы остановили это кружение, но слова больно ударили в обожженное горло, и ему показалось, что какая-то безжалостная сила раздирает его на части, опуская каждую из них в дымный кипящий свинец...

Утром следующего дня было передано сообщение, что по случаю победы над силами реакции в Москве будет проведен праздник. Его устроители обещали, что они предпримут все, чтобы каждый участник от души повеселился. Ведь выиграна такая битва!

Могилу Стаховичу вырыли на самом краю кладбища, там, где высокий берег реки полого спускался к воде. Пульков смотрел на аккуратный земляной холмик, обложенный цветами, и никак не мог заставить себя поверить, что под ним лежит Броник, с которым они еще совсем недавно пили водку, говорили о службе, и Броник жаловался, что ему ни за что не дадут роту, потому что начальство не любит офицеров, которые говорят ему правду в глаза.

Пулькову казалось, что все происходящее вокруг — какая-то странная несуразная нелепость, которую почему-то никто, кроме него, не замечает. Он так и не видел Стаховича мертвым. Из госпиталя его привезли в закрытом гробу. Старший прапорщик Тарасов, который привез его, хмуро сказал:

— Там смотреть не на что, все лицо обгорело.

Гроб так и не открыли — ни тогда, когда он стоял у штаба полка, и все подходили к нему попрощаться, ни тогда, когда его на несколько минут опустили прямо на землю возле могилы, чтобы Стахович еще немного побыл в этом мире, среди живых людей, под этим высоким, уже теряющим знойную летнюю тягучесть небом.

И теперь Дмитрию представлялось, что Стахович где-то просто задержался и должен вот-вот здесь появиться, чтобы удивленно спросить:

— Интересно, что это вы тут делаете?

Они сидели на траве в тени старой раскидистой березы. Тарасов расстелил предусмотрительно захваченную плащ-накидку, выложил на нее хлеб, огурцы, зеленый лук.

— Ну, помянем Бронислава! — Сильченко поднял

стопку, все на минуту замолчали, а потом медленно выпили.

— А почему подполковника Климашина не было на похоронах? — спросил Пульков.

Сильченко повертел в руках пустую стопку, осторожно поставил ее на брезент.

— А потому, что приехал генерал-полковник Селиванов и вызвал нашего командира для объяснений.

— Селиванов? — недоуменно поднял брови Саркисян. — Так он же сам заставлял нас выполнять все распоряжения чрезвычайного комитета.

— Правильно, заставлял, — невесело усмехнулся Сильченко. — А теперь, как член известной комиссии, выносит приговоры тем, кто эти распоряжения выполнял. Вырос! Даже звание генерал-полковника получил. Нынче, видно, такие люди особенно ценятся.

— Эх, жалко командира, — расстроено вздохнул Тарасов. — Тут еще этот Рубашвили сбежал.

— Теперь все припомнят, — угрюмо произнес Саркисян. — Многим не понравилось, что командир обо всем откровенно говорил.

— Теперь всем припомнят, — Сильченко расправил отогнувшийся край плащ-накидки. — Сейчас наверх вылезет вся пена, которая и начнет рулить.

— Они нарулят! — зло сплюнул Саркисян.

— Ладно, — махнул рукой Тарасов. — Самое хреновое только начинается. Давайте-ка мы еще раз помянем Бронислава. Пусть земля ему будет пухом!

Дмитрий привстал на коленях, оглянулся назад — за рекой далеко тянулось поле, а за ним широкой иззубренной стеной вставал лес.

Хорошо было — тихо, лишь чуть слышно перешептывались наверху листья березы.

«Наверное, к вечеру соберется дождь», — подумал Пульков.

Он встал и, широко шагая по склону, спустился к реке. Темная непроницаемая вода катилась мимо него тугом шелестящим потоком. Дмитрий опустил в него руки и почувствовал, как холодная вода бережно омывает ему ладони, словно торопясь унести с собой его боль и тревогу...

## **СОДЕРЖАНИЕ**

**Леонид Головнев  
Владимир Селедкин**

**ВЫВОД**

*Повесть*

**2**

**Заместитель гл. редактора В. КЛИМОВ**

**Редактор С. Сарновский**  
**Художник М. Буткин**  
**Технический редактор С. Чернышова**

---

Адрес редакции 123831. Москва, ГСП. Хорошевское шоссе, 32а.  
Сдано в набор 10.12.91 г. Подписано в печать 03.01.92 г. Формат 84×108/32.  
Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.  
Печ. л. 5,0. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 9,09. Усл. кр.-отт. 8,72. Тираж 50 003 экз.  
Изд. № п/7106. Заказ 343. Цена 2 руб. 50 коп.

ISBN 5-203-01500-7

Ордена Трудового Красного Знамени  
Военное издательство Министерства обороны СССР  
1-я типография Воениздата  
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3





Литературному миру хорошо известны счастливые случаи плодотворного соавторства творчески одаренных людей. Думается, повесть «Вывод» тоже найдет своих читателей, особенно среди людей в военной форме. Бесконечная череда проблем, острые жизненные, порой тупиковые ситуации, в которых зачастую человек в погонах оказывается не по собственной прихоти, а по воле порожденных в обществе тенденций, — таков лейтмотив повествования военных журналистов Леонида Петровича Головнева и Владимира Петровича Селедкина.

Их выступление в соавторстве — продолжение давней традиции, сложившейся еще в пору лейтенантской юности. Оба начинали офицерскую службу в Приморье команди-

рами взводов, оба пробовали свое перо на страницах газеты Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск», а потом, став ее штатными сотрудниками, выступили с первым совместным очерком о воинах отдаленного гарнизона.

С тех пор военные журналисты Леонид Головнев и Владимир Селедкин не раз делились своими размышлениями о различных проблемах суровых солдатских будней, выступали с публикациями на морально-этические темы, сборниками очерков о людях героической профессии.

Так было, когда они трудились в окружной газете, так они поступали, когда работали корреспондентами в «Красной звезде», так они делают и сегодня в «Советском воине».